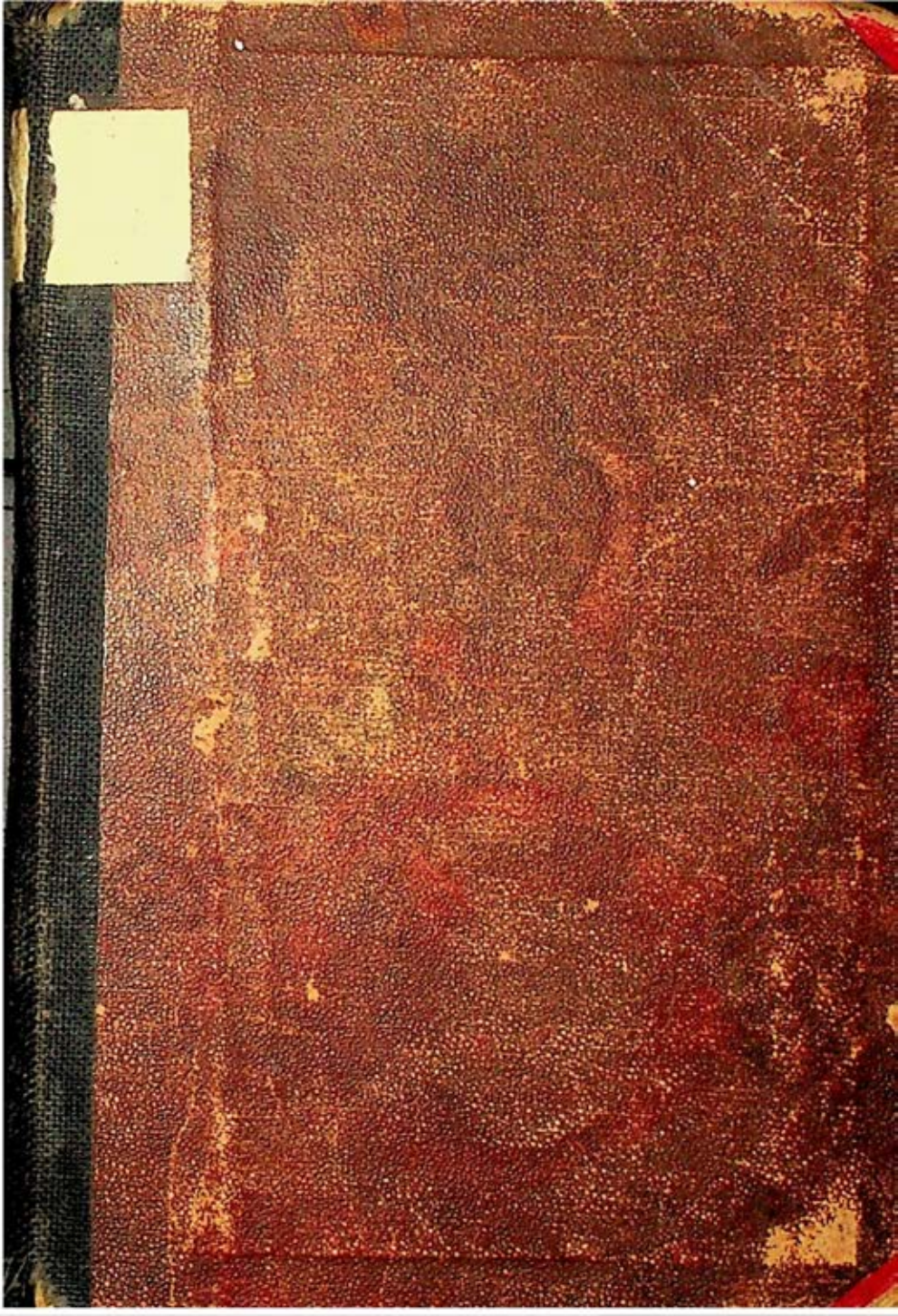

19.844

Do not copy

VSD3

Do not copy

19.844

Do not copy

33

Русская Колонія
Библіотека
Панчево

803

1132

№ 803

Основн. №

Оплата по нормалю

При пользованіи 4

Do not copy

Do not copy

882-32

ТЭФФИ

№ 803

ЧЕРНЫЙ ИРИСЪ

РАЗСКАЗЫ

1132
803.

СТОКХОЛЬМЪ
«СѢВЕРНЫЕ ОГНИ»
1921

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СѢВЕРНЫЕ ОГНИ»
ПОДЪ ОБЩЕЙ РЕДАКЦІЕЙ
И. А. ЛУНДЕЛЯ и Е. А. ЛЯЦКАГО.

Типо-литографія
Акц. о-ва Хассе В. Тульбергъ
Стокгольмъ 1921.

5РК 8

Основн. № 1132
Оплата по каталогу тарифу
При пользованіи _____ дн.

ЧЕРНЫЙ ИРИСЪ.

— Да что вы, барынька, да и вовсе погода не такъ ужъ плоха. Конечно, немножко . . . этого . . . дуетъ, ну а все-таки покататься не вредно. Это вы, барынька, просто въ дурномъ настроеніи!

Докторъ Катышевъ урезонивалъ Вѣкину, а Вѣкина слушала и думала про свои печальныя дѣла.

Дѣла ея, дѣйствительно, были плохи.

Третьяго дня мужъ Вѣкиной уѣхалъ на пять дней въ Казань хоронить тетку, и на этихъ пяти дняхъ Вѣкина основывала всѣ ближайшія радости своей жизни. Она думала, что будетъ каждое утро кататься съ художникомъ Шатовымъ, каждый день завтракать съ художникомъ Шатовымъ, каждый вечеръ обѣдать съ художникомъ Шатовымъ и каждую ночь, по крайней мѣрѣ, ужинать съ художникомъ Шатовымъ.

И вотъ, однако, идетъ уже третій день изъ пяти блаженныхъ, а они ни разу даже не видѣлись. То онъ телефонировалъ, что заканчиваетъ картину къ выставкѣ, то прислалъ письмо, что долженъ явиться къ высокопоставленному лицу, съ котораго бу-

детъ писать портретъ, то прислалъ цвѣты безъ всякаго письма и самъ не пришелъ.

— Какой дуракъ! — терзается Вѣкина.

— Вѣдь долженъ же онъ понять, что такое счастье, можетъ быть, никогда не повторится, потому что каждая тетка умираетъ одинъ разъ въ жизни. Или это только тактика, чтобы подразнить. Вотъ нашелъ тоже время!

— И чего вы, барынька, хандрите? Ну, чего вамъ не хватаетъ? — усердствовалъ докторъ Катышевъ.

— Вотъ присталъ, — думаетъ Вѣкина. — Начать развѣ съ нимъ кокетничать на зло Шатову?

— Барынька милая! Ну, чего вы право? Какія у васъ ножки хорошенькія. Ну, можно ли съ такими ножками хандрить. Да будь у меня такія ножки, да я бы не знаю что . . .

Вѣкина представила себѣ толстаго, лысаго Катышева въ серебряныхъ туфелькахъ и чулкахъ тѣлеснаго цвѣта, и ее немножко затошнило.

— А что, небось, нравятся ножки? — пересилила она себя. — Поцѣловать хочется?

«Это все изъ-за тебя, все изъ-за тебя, — мысленно говорила она художнику. — Вотъ на, получай, вотъ тебѣ».

— Ну, поцѣлуйте же, докторъ.

Докторъ осклабился, закряхтѣлъ, всталъ на колѣни и, взявъ ногу Вѣкиной между двумя ладонями, звонко поцѣловалъ надъ бантикомъ туфли.

— Прямо не ножка, а бланманже!

«Какая гадость! Точно операцію дѣлаетъ», — вся съежилась Вѣкина. — «Вотъ до чего ты довелъ меня! Ты! Ты! Ты! Ага! Не нравится? Такъ получай же еще».

Она вдругъ лукаво улыбнулась и откинула рукавъ платья.

— Посмотрите, какая у меня на локтѣ ямочка!

Докторъ вытянулъ губы трубочкой и нагнулся, но Вѣкина отдернула руку:

— Вы себѣ слишкомъ много позволяете!

Докторъ выпучилъ глаза и такъ и остался съ вытянутыми губами.

Черезъ полчаса послѣ его ухода пришелъ художникъ Шатовъ.

— Пожалуйста, не оправдывайтесь, — холодно остановила его Вѣкина. — Мнѣ все равно! Тѣмъ болѣе, что я сама должна кое въ чемъ признаться вамъ.

— ?

— Я увлеклась другимъ.

— ?

— Вы бы убѣдились сами, если бы пришли на часъ раньше. Въ сущности, я рада, что все между нами кончилось къ обоюдному удовольствію.

Шатовъ немножко опѣшилъ, губы у него слегка задрожали, впрочемъ ровно настолько, насколько это полагается опѣшившему человѣку.

— Такъ вы находите, что . . . къ обоюдному?

Вѣкина засмѣялась самымъ ироническимъ смѣ-

хомъ, какой только могла придумать, и молча вышла изъ комнаты.

Она слышала, какъ Шатовъ надѣвалъ въ передней калоши, какъ, надѣвъ ихъ, онъ еще подождалъ чего-то въ передней, и когда дверь захлопнулась, она неожиданно укусила себя за руку и заплакала.

Вечеромъ въ постели стала сочинять письмо:

Сначала такъ:

«Милостивый Государь. Мнѣ бы хотѣлось получить обратно мой портретъ . . .»

Потомъ такъ:

«Вѣдь мы разстались друзьями, не правда ли? Пусть мой портретъ послужитъ залогомъ нашихъ простыхъ дружескихъ отношеній . . .»

И, наконецъ, такъ:

«Евгеній! Я люблю тебя. Пришли мнѣ твой портретъ . . .»

Потомъ заснула.

Утромъ посыльный принесъ букетъ черныхъ ирисовъ.

— Письма нѣтъ?

— Нѣтъ.

Она цѣловала каждый вѣнчикъ холодныхъ черныхъ цвѣтовъ и улыбалась дрожащими губами.

— Такъ не уходятъ! Нѣтъ! Это не прощальные цвѣты! Они черные оттого, что онъ тоскуетъ, а тоскуетъ оттого, что любитъ. Осталось еще два дня свободы, нельзя терять минуты!

— Евгеній! — говорила она въ телефонъ. — Евгеній, прости меня! Это неправда: — я не люб-

лю другого. Я наклеветала на себя, чтобы отомстить тебѣ. Отчего я одумалась? Отъ черныхъ цвѣтовъ. Черный ирисъ сказалъ мнѣ, что ты тоскуешь и любишь. Я люблю черный ирисъ! Понимаешь? Черный ирисъ! Только черный ирисъ! Нѣтъ! Нѣтъ! Я не сумасшедшая, я только счастливая!

Онъ обѣщалъ притти, она цѣлый часъ металась между двумя зеркалами въ гостиной и въ спальнѣ. Завязала ирисы яркой желтой лентой.

— Смѣйтесь, ирисы!

Въ три часа позвонили, и въ ожиданіи она закрыла глаза, но когда открыла ихъ — увидѣла свѣжевыбритую физіономію доктора Катышева.

— Ну, какъ сегодня, милая барынька? Безпокоился о здоровьѣ, зашелъ провѣдать.

— Ничего . . . сегодня хорошо. Только я очень занята, — лепетала Вѣкина.

Катышевъ окинулъ взглядомъ комнату.

— Какъ вы красиво завязали ленту на цвѣты. Бездна вкуса!

— Только не трогайте, — встрепенулась Вѣкина. — До этихъ цвѣтовъ нельзя дотрогиваться, — они священны! Они мнѣ дали столько счастья, что . . . словомъ, не ваше дѣло.

Катышевъ вдругъ умилился:

— Родная моя, — засюсюкалъ онъ. — Дѣтонька моя! Да неужели же такъ угодилъ!

Вѣкина вся похолодѣла.

— Что . . . Что вы говорите?

— Неужели такъ угодилъ цвѣтами? А я еще не хотѣлъ брать, что черные, да приказчикъ уломалъ. Самые — говоритъ, — модные въ сезонѣ. Ну, модные, такъ модные, давай. Да вы что?

Вѣкина стояла вся блѣдная и задыхалась.

— Да какъ вы смѣли! Подлый вы человѣкъ! Нахалъ безчестный! Какъ вы смѣли послать цвѣты безъ письма и безъ карточки!

— И чего вы, барынька, ей Богу, — испугался Катышевъ. — Я же думалъ, что вы и сами догадаетесь, отъ кого, послѣ вчерашняго, гм . . .

— Уходите вонъ! Какъ вы смѣете такъ оскорблять женщину! Я пожалуюсь мужу, онъ расправится съ вами. Уходите вонъ, негодяй!

Испуганный Катышевъ спускался съ лѣстницы на цыпочкахъ, — онъ не смѣлъ шагать цѣлой ногой, — когда встрѣтилъ подымающагося художника Шатова.

Художникъ весело посвистывалъ и несъ большой букетъ чернаго ириса.

— Голубчикъ, — схватилъ его за руку Катышевъ. — Вы къ ней? И съ цвѣтами? Бросьте, какъ другу говорю — бросьте. Это такая женщина ! . . . Это святая женщина . . . Это сама добродѣтель . . . Это — звѣрь. И, по-моему, у нея даже тутъ неладно.

И онъ постучалъ по лбу пальцемъ.

— Вы находите? — насторожился художникъ.

Подумалъ немножко и сталъ спускаться вмѣстѣ съ докторомъ.

ТОСКА ПО РОДИНѢ.

Мы сидѣли на каменной скамеечкѣ у обрыва Фьезоле и смотрѣли на панораму вечерней Флоренціи.

Медленно таяло розовое солнце, медленно спускались голубыя тѣни на фіолетовые холмы, съ недвижными на нихъ, какъ семисвѣчники алтарей, тонкими, прямыми кипарисами.

Это тѣ самые холмы, которые полюбилъ Леонардо въ окнѣ Джіоконды.

И такъ же, засыпая, улыбалась Флоренція, какъ тогда ему.

Мы только что сдѣлали большую прогулку, осмотрѣли раскопанный недавно античный театръ, посѣтили францисканскій монастырь, гдѣ юный красавецъ-монахъ, опоясанный веревкой, игралъ на органѣ Вагнера. Его зовутъ очень сладко, этого монаха — фра Карамелло. Онъ очень талантливъ.

Наши русскіе снобы бѣгаютъ смотрѣть и слушать Карамелло, причемъ для приличія приходится дѣлать пожертвованія на монастырь.

— Онъ ходитъ, какъ Дунканъ, и играетъ, какъ святая Цецилія, — говорятъ про Карамелло.

Теперь мы сидимъ на каменной скамейкѣ, прозванной «англичанкинъ диванъ». Скамейку соорудила на собственныя средства влюбившаяся въ пейзажъ англичанка, — отсюда и названіе.

Отдыхаемъ. Купили у грязной дѣвченки, съ всклокоченными, какъ шерсть бурой козы, волосами, персиковъ, нѣсколько вѣтокъ винограда. Виноградъ тяжелый, пряный, будто медомъ намазанный. Персики такіе розовые, пушистые, что передъ тѣмъ, какъ откусишь, сначала невольно погладишь ихъ твердыя щечки.

Группа итальянскихъ бездѣльниковъ серьезно и внимательно смотритъ на насъ.

Точно дѣло дѣлаютъ.

Иной устанетъ глазѣть — пойдетъ, отдохнетъ немножко и снова смотритъ.

Пришелъ толстый старикъ съ гитарой, прислонился къ каменной оградѣ, закинулъ голову и запѣлъ на два голоса по очереди. Получалось впечатлѣніе, будто поютъ двое: одинъ куплетъ — страстный мужской голосъ, другой — сладкій женскій.

Нашъ спутникъ, молодой итальянецъ съ темными глазами, оживился.

— Это наша новая канцонетта, получившая призъ въ этомъ году. У насъ каждый годъ устраиваются конкурсы; послушайте, какъ красиво!

Старикъ пѣлъ хорошо. Даже не понимая словъ можно было ихъ чувствовать, — такъ красиво умолялъ мужской голосъ и такъ сладко мучился женскій.

— Онъ поетъ объ ея золотыхъ волосахъ — переводилъ нашъ итальянецъ. — «Твои золотые волосы, какъ золотыя перья на крыльяхъ ангеловъ . . . »

Мы наслаждались, любовались, итальянецъ переводилъ отрывки нѣжной пѣсни и, полузакрывъ темные глаза, смотрѣлъ на розово-голубой, вечерній городъ.

— Firenze! Mia Firenze!

Какъ онъ любилъ свой городъ-цвѣтокъ!

Тутъ же на Фьезоле сидѣлъ съ нами и Васюка Пономаревъ.

Васюка былъ нашъ новгородскій купеческій сынъ, знали мы его почти съ дѣтства, когда онъ былъ толстощекимъ гимназистомъ, съѣвшимъ потихоньку — исторія трагическая, — цѣлый именинный пирогъ, который его мать испекла на двадцать поздравителей.

Помнимъ его и семнадцатилѣтнимъ парнемъ, когда его отецъ выпоролъ черезъ посредство трехъ городовыхъ.

Порка эта была вызвана крайней необходимостью и принесла плоды блестящіе.

Дѣло въ томъ, что кромѣ Васюки было у его родителей трое старшихъ сыновей, и каждый изъ нихъ, какъ наступалъ ему семнадцатый годъ, начиналъ сбиваться съ толку: переставалъ учиться, начиналъ безобразить и, въ концѣ-концовъ, спивался. И только съ Васюкой старый Пономаревъ во

время догадался. Выпоротый Васюка снова принялся за ученіе и кончилъ университетъ.

Теперь старики отправили: «сваво болвана потешествовать».

Мы встрѣтились съ Васюкой во Флоренціи. Онъ вздыхалъ на палаццо и музеи, поднимая средневѣковую пыль, и всюду тащился за нами, тупо-равнодушный, точно нанятый.

И здѣсь, на Фьезоле, Васюка вздыхалъ и, повернувшись спиной ко всѣмъ флорентійскимъ красотамъ, колупалъ стѣну ногтемъ.

Въ его толстой понурой фигурѣ, безпомощно и неловко вывернутыхъ ногахъ было столько тихой, застѣнчивой тоски, что мнѣ стало его жаль.

— Василій Иванычъ! Вы чего загрустили?

Онъ помолчалъ минутку, потомъ приподнялъ голову и посмотрѣлъ на меня грустно, точно съ упрекомъ.

— Суббота сегодня. Суббота.

— Да, кажется, суббота. А что?

— Суббота сегодня. У насъ въ городѣ теперь ко всенощной звонятъ . . . Головиха Мавра Ѳедотовна черезъ мостъ идетъ въ монастырь . . . Холодно, небось, скверно. Небось, ватную кофту надѣла, въ калошахъ, все какъ слѣдуетъ.

Онъ тянулъ слова медленно, съ болью, съ упрекомъ.

— Деревья-то, небось, голыя. Такъ, развѣ гдѣ внизу листокъ болтается, слизлый, морщенный. А наверху, небось, голыя палки торчатъ . . . Мона-

хи черезъ лужу доску перебросили, — пройдешь и ногъ не замочишь. Благодать . . .

Онъ еще что-то хотѣлъ сказать, вздохнулъ, захлебнулся и смолкъ. Такой былъ жалкій, растерянный, какъ толстый, обиженный ребенокъ, что утѣшить его захотѣлось, какъ ребенка.

— Ну, что вы, Василій Иванычъ! Посмотрите-ка лучше, какой чудный виноградъ, — желтый, медвяный!

Онъ машинально отщипнулъ ягодку, пожевалъ тупо, по коровьи.

— А у насъ-то теперь въ городѣ клюква поспѣла. Бабы клюкву въ кошеляхъ по городу разносятъ. За шесть гривенъ можно цѣлый кошель купить. Исправничиха съ корицей варитъ. Съ корицей и съ лимономъ.

Онъ даже оживился слегка тѣмъ грустнымъ оживленіемъ, съ какимъ родители говорятъ о талантахъ умершаго ребенка.

— Да, съ корицей и съ лимономъ. А брусника-то уже давно поспѣла, про бруснику-то у насъ ужъ и думать забыли.

Онъ гордо откинулъ голову, точно здѣсь, на Фьезоле, только и думаютъ, что о брусникѣ.

— У насъ теперь хорошо!

И онъ снова поникъ и погасъ.

— Дурень ты несчастный, — думала я, — ну какъ мнѣ тебя утѣшить?

А старый итальянецъ все пѣлъ, сладко, переливчато, а молодой переводилъ.

— Теперь онъ о ея глазахъ: «Я не видѣлъ звѣздъ, я видѣлъ только ихъ . . .»

— Скажите, Василій Иванычъ, вы кажется не любите Флоренціи?

Онъ какъ-то по бабьи улыбнулся и сказалъ:

— Э, что тамъ! Флоренцію просто любить.

Мнѣ вспомнилась новгородская баба-погорѣлка, приплевшаяся просить съ двумя ребятами, изъ которыхъ старшая, поразительно красивая, здоровая дѣвочка, весело прыгала, а вторая, чахлая, вся въ коростѣ, еле поднимала слипшіяся больныя вѣки.

— Небось, любишь дѣвчонку-то, — спросили бабу про красавицу.

— Эту-то? Эту просто любить, — презрительно усмѣхнулась баба, точь въ точь, какъ теперь Васюка . . . — Я больше эту жалѣю!

Она прижала къ себѣ чахлую, коростивую и вся задрожала и, какъ то по звѣриному, тихо зарычала «у-ы-ы»!

—Слушайте, Василій Иванычъ, — неожиданно для самой себя сказала я. — Мнѣ кажется, что на болотахъ березки еще зеленыя. Онѣ на болотахъ какъ-то дольше держатся . . .

Я вспомнила осеннее болотце, унылое, съ проступившей водой, съ желторжавой зеленью. И на немъ, на мокрой кочкѣ — березку-недородышъ, маленькую, тонкую, блѣдную, какъ выдержанная безъ свѣта и пищи святая мученица старинной иконы. Стоитъ — дрожитъ, тянется къ свѣту, чуть живая, а будетъ жить. Будетъ жить!

— Какъ глупо думать объ этомъ, — вдругъ спохватилась я. — Почему то — мое, а это — не мое, — этотъ вечеръ, эта гора, эта пѣсня. Весь міръ — мой въ равной степени. Вся земля моя, и гдѣ я — тамъ мое!

И вдругъ почудился мнѣ простой скрипучій голосъ, такимъ говорятъ у насъ въ Россіи захудалые извозчики да корявые мужичонки.

— Ахъ, вотъ и вре-ешь! — сказалъ голосъ. — Ахъ, вотъ и не твое! И не родное! И городъ не твой и вечеръ не твой, и на виноградъ этотъ смотришь ты съ такимъ чувствомъ, будто онъ по русски не понимаетъ. Вотъ комаръ тебя давеча укусилъ. Дома закричала бы на него непосредственно «ахъ, проклятый», а здѣсь, небось, не закричала такъ, потому что вся душа твоя чувствуетъ, что здѣсь этотъ самый комаръ, не комаръ, а занзара, и кричать на него надо не непосредственно, а подумавши. «Mamma mia maladetta» или что-то въ этомъ родѣ. Вотъ съ края у стѣны пальма растетъ, — стволъ сочный, упитанный, верхушка расфрантилась, распушилась, раскрахмалилась. Чужая, противная, несерьезная. — Старикъ поетъ жирнымъ фальцетомъ:

«Я не знаю, взошло ли солнце, потому что вижу только тебя».

Противно!

— Ага, противно! — опять заскрипѣлъ голосъ. — А, небось, не было противно, когда патлатый ямщикъ гнусавилъ безъ складу, безъ ладу:

БРК 8

Жилъ мальчикъ на волѣ,
На волѣ мальчикъ на своей,
И кажну мелку пташку
На-лету мальчикъ стрѣлялъ,
И кажну красную дѣвицу
Навстрѣчу мальчикъ цѣловалъ.
Вольно, мальчикъ на волѣ,
На волѣ мальчикъ на своей. — У — у.

Пропѣлъ и у-ухнулъ такъ, что всѣ три кл: только хвостами дернули. Тогда, небось, улыбала и вѣтерокъ обвѣвалъ разсвѣтный, ласковый, не бываемый, свой, свой . . .

— O mia Firenze, o cita del canto — томно с налъ молодой итальянецъ.

— Василій Иванычъ! Не пойти ли намъ дом Мнѣ что-то такъ скучно . . . такъ скучно . . .

ОСТРАЯ БОЛѢЗНЬ.

Онъ былъ до такой степени похожъ на барана, что даже собаки лаяли на него какъ-то особенно, не такъ, какъ лаютъ на человѣка, — со страхомъ и озлобленіемъ, — а тихо, лѣниво потявкивали.

— Гавъ-гавъ!

— Знаемъ, молъ, сами, что ты баранъ, существо безобидное, да ужъ обязанность наша такая, нужно порядокъ блюсти.

Люди относились къ нему добродушно. Люди любятъ барановъ. И говорили съ нимъ, будто тпрукали.

— Здравствуйте, Павелъ Павлычъ! (Тпру-тпру). Какой вы сегодня оживленный (ахъ, ты, бяшка-барашка!). Пойдемъ, погуляемъ вмѣстѣ (тпру, глупый, не бойся, бяшенька!).

Онъ былъ всегда очень серьезенъ и говорилъ вещи, чрезвычайно вѣско обоснованныя.

— Вотъ вы сегодня надѣли пальто, вамъ будетъ теплѣе, — сообщалъ онъ, — а вчера вы были безъ пальто, и вамъ было холоднѣе.

Собесѣдникъ не могъ ничего возразить, и Па-

велъ Павлычъ гордо подымалъ свой крутой бараній лобъ.

— Больные люди должны поправляться. А то что же хворать-то, — не хорошо.

— Полные не должны много ѣсть. Отъ ѣды полнѣютъ.

И тутъ опять не поспоришь.

Въ нѣмецкомъ курортикѣ, гдѣ Павелъ Павлычъ поправлялъ свой желудокъ, маленькій кружокъ русскихъ больныхъ относился къ барану очень дружелюбно.

— Онъ, собственно говоря, очень милый, — говорили о немъ. — Любезный и ни о комъ плохо не отзывается.

Русскій кружокъ, какъ всегда въ курортахъ, часто мѣнялся, — одни уѣзжали, другіе пріѣзжали, — но основное ядро составляли пять человѣкъ: — двѣ курсистки, — толстая съ прической à ла Клео де-Мородъ, и тощая, совсѣмъ не причесанная, — два адвоката — Ротовъ и Бирбаумъ, и дама Анна Ивановна, — не то капиталистка, не то анархистка, простая, веселая, съ веснушками на рукахъ.

И всѣ пятеро дружили съ бараномъ и находили его премилымъ.

Но вотъ, однажды утромъ, послѣ холодной ванны, Ротовъ сказалъ Бирбауму:

— Сегодня идемъ въ горы?

— Конечно, какъ условились, въ три часа. Не знаю только, сможетъ ли Павелъ Павлычъ: онъ, кажется, занятъ.

И вдругъ Ротовъ сказалъ удивительную, неслыханную вещь. Онъ сказалъ:

— А, собственно говоря, это къ лучшему, если онъ не сможетъ.

Бирбаумъ посмотрѣлъ на товарища съ недоумѣніемъ:

— Какъ вы сказали?

— Да знаете, что-то онъ мнѣ на нервы дѣйствуетъ. Болтаетъ какую-то ерунду.

— Да что вы! Онъ такой серьезный, такой милый, у васъ просто нервы не въ порядкѣ.

Ротовъ сконфузился.

— Да я ничего и не говорю, — онъ дѣйствительно очень милый. Кромѣ любезности, я ничего отъ него не видѣлъ. Итакъ, значитъ, идемъ въ горы?

Павелъ Павлычъ смогъ принять участіе въ прогулкѣ. Шли бодро, весело болтали.

Только Ротовъ былъ какъ-то задумчивъ и то бѣжалъ впереди всѣхъ, то плелся сзади, молчаливый и безучастный.

Баранъ былъ въ хорошемъ настроеніи.

— Подъ гору-то итти куда легче, чѣмъ на гору, — сообщалъ онъ всѣмъ по очереди.

— Идите, идите, Марья Петровна, — подбодрялъ онъ толстую курсистку въ прическѣ à la Клео де-Мередъ. — Кто хочетъ похудѣть, тотъ долженъ много ходить. Отъ сидячей жизни люди полнѣютъ.

Никто не могъ ничего возразить ему, и разговоръ могъ бы навсегда оборваться, если бы Павелъ

Павлычъ оказался менѣе находчивымъ и оживленнымъ. Но онъ такъ и сыпалъ:

— Только бы дождь не пошелъ, а то мы смокнемъ. Ужасно непріятно, когда, этакъ, дождикъ застигнетъ. И платье испортитъ, да и простудиться можно. Въ сыромъ платьѣ очень легко схватить простуду. Что? Никакъ опять подъемъ? На гору-то, знаете, тяжело итти, а съ горы — живо! Съ горы легко.

Бирбаумъ отсталъ немножко и шепнулъ уныло шагающему Ротову:

— А, вѣдь, онъ и правда, какой-то утомительный. Хотя, въ сущности, очень милый . . .

— Ну, конечно, очень милый, — кротко вздохнувъ, согласился Ротовъ и вдругъ весь вспыхнулъ и затрясъ кулаками.

— А чортъ бы его дралъ съ его милостью! Всю прогулку испортилъ. Вѣдь, я изъ-за него не вижу ничего. Кругомъ горы, долины, красота, а я иду и все время мысленно повторяю: «Чтобъ ты сдохъ! Чтобъ ты сдохъ! Чтобъ ты сдохъ!» Нарочно подальше держусь, чтобъ не выругаться.

— Ну, Богъ съ вами! — успокаивалъ его Бирбаумъ. — Онъ, въ сущности, такой милый, нехорошо, если замѣтитъ.

— А пусть его замѣчаетъ. Чтобъ онъ сдохъ!

Но черезъ нѣсколько минутъ Ротовъ, видимо, успокоенный, присоединился къ обществу, сталъ болтать острить и даже подпиралъ барана, когда тотъ усталъ лѣзть на гору. Щеки у Ротова поро-

зовѣли, и онъ снова имѣлъ видъ здороваго и веселаго человѣка.

Черезъ четверть часа Бирбаумъ отозвалъ его и, крѣпко взявъ подъ-руку, зашепталъ смущенно и испуганно:

—А знаете, вы правы! Онъ, собственно говоря, очень милъ, но трудно съ нимъ какъ-то . . . Онъ вдругъ говоритъ, — вы слышали? — «Сѣдые волосы чаще бываютъ у стариковъ, чѣмъ у молодыхъ». А? Слышали вы это?

Бирбаумъ вдругъ весь задрожалъ, злобно оскалился и зашипѣлъ черезъ судорожно стиснутые зубы:

— Да какъ онъ смѣетъ это говорить, идіотъ проклятый! Что онъ насъ всѣхъ дураками считаетъ, что ли? Вѣдь, это же нахальство! Это — издѣвательство надъ людьми! Его проучить надо!

Ротовъ, испуганный и удивленный, не зналъ, что дѣлать:

—Да полно, голубчикъ! Ну, что за вздоръ. Вѣдь онъ, въ сущности, такой милый, обязательный, любезный... Ну, конечно, онъ немножко того... доктринеръ. Ну, успокойтесь! Право, неловко.

Бирбаумъ вздохнулъ глубокимъ, вздрагивающимъ вздохомъ, какъ дѣти послѣ плача, и притихъ.

Черезъ десять минутъ онъ ужъ принималъ участіе въ общемъ разговорѣ и ласково хлопалъ барана по плечу.

На другое утро Ротовъ встрѣтилъ Анну Иванов-

ну. Она издали махала ему своимъ краснымъ зонтикомъ и кричала:

— Идемъ сегодня опять въ горы? А? Чего тутъ зря болтаться. А?

Ротовъ задумался.

— Я, собственно говоря, занятъ, то-есть я пойду съ удовольствіемъ, если . . . А Павелъ Павлычъ идетъ?

— Должно быть. Какъ же безъ него-то?

— А знаете, скажу вамъ откровенно, — онъ мнѣ надоѣлъ!

Анна Ивановна поджала губы, выпучила глаза и вдругъ сочувственно покачала головой:

— А знаете, голубчикъ, вѣдь, и правда, онъ надоѣдливый. Тошный какой-то! Представьте себѣ, вчера, во время прогулки, вдругъ говоритъ: «Красивыя женщины всегда больше нравятся, чѣмъ некрасивыя». Ну, не глупо ли? Ну, кто, скажите, этого не знаетъ? Подумаешь, — новость сообщилъ! Это меня почему-то такъ обозлило, что прямо вспомнить не могу!

Она стукнула зонтикомъ, и на глазахъ у нея выступили слезы.

— Дуракъ поганый!

Ротовъ успокаивалъ ее, какъ могъ, неубѣдительно и вяло.

— А знаете, курсистка Вѣра уже давно не можетъ его выносить. Она только показывать не хочетъ.

— Ну, какъ же можно показывать! За что же обижать человѣка!

Прогулка состоялась безъ барана. Баранъ былъ занятъ. Но онъ невидимо присутствовалъ, потому что не проходило и десяти минутъ, какъ съ кѣмъ нибудь дѣлался острый припадокъ ненависти. Первая начала курсистка Вѣра.

Длинная, тощая, она махала руками, визжала и чуть не скатилась съ обрыва.

— Какъ онъ смѣетъ говорить мнѣ, что зубная боль непріятна! Какъ онъ смѣетъ! Это — нахалъ, это — подлецъ! Это — звѣрь!

Остальные хоромъ успокаивали ее.

— Какъ не стыдно, онъ такой милый! Такой любезный!

Вторымъ былъ Бирбаумъ, третьей — Анна Ивановна, четвертой — два раза подъ-рядъ — толстая курсистка Марья Петровна. Послѣ нея схватило Ротова, потомъ снова Анну Ивановну, и опять перебрало всѣхъ по очереди.

Возвращаясь домой, всѣ дали другъ-другу слово вести себя такъ, чтобы Павелъ Павлычъ отнюдь не замѣтилъ этой перемѣны въ отношеніи къ нему.

— За что же обижать человѣка? Онъ такой милый . . . такой услужливый!

На слѣдующій день барану объявили, что безъ него прогулка ни за что не состоится. Баранъ, давно сознававшій себя душой общества, не удивился, поломался немножко и милостиво согласился. Но

вечеромъ итти вмѣстѣ въ кафе почему-то отказался.

— Господи! Онъ, кажется, все понялъ! — въ отчаяніи твердила Анна Ивановна. — Вѣдь это ужасно!... За что? За что? Нужно быть съ нимъ полюбезнѣе. Я завтра пошлю ему букетъ розъ.

— Господь съ Вами, Анна Ивановна, но, вѣдь, это неловко! Посылать мужчинѣ цвѣты!

— Ну, чѣмъ же онъ виноватъ, что онъ — мужчина? Вы вѣчно такъ! Онъ такой милый, и это прямо грѣшно такъ относиться къ человѣку! Стыдно! Стыдно! — кричала она на Ротова и вдругъ забилась въ остромъ припадкѣ.

— Онъ вчера сказалъ, что на дачѣ лѣтомъ хорошо, а зимой плохо, потому что холодно. Я не могу этого больше выносить! Я сегодня же уѣду!

Еле ее успокоили. Но цвѣты барану она все-таки послала и даже послѣ обѣда играла съ нимъ въ шахматы, а всѣ кругомъ сидѣли и ласково улыбались. Только изрѣдка кто-нибудь подхватывалъ сосѣда подъ-руку, увлекалъ въ другую комнату, и все общество вздрагивало, прислушиваясь къ глухимъ подавленнымъ воплямъ, доносившимся черезъ запертую дверь.

Баранъ, видя общее исключительное къ себѣ вниманіе, сталъ немножко зазнаваться. Подсмѣивался надъ толстой курсисткой, игриво подталкивалъ Анну Ивановну и говорилъ съ Бирбаумомъ и Ротовымъ не иначе, какъ презрительно прищуривъ

глаза, и не упускалъ при случаѣ лягнуть ихъ копытомъ.

— Это у васъ что на головѣ? Луна? — спрашивалъ онъ лысаго Бирбаума.

Всѣ кругомъ и самъ Бирбаумъ дѣлали видъ, что это очень мило, весело, и тонко сказано.

— Ахъ, только бы онъ не догадался! Только бы не догадался! — мучились всѣ.

А баранъ лягалъ направо и налѣво и катался, какъ сыръ въ маслѣ.

Компанія блѣднѣла, худѣла, чахла и таяла на глазахъ. Даже толстая курсистка ушила себѣ платье на три сантиметра.

— Я рада, что стала тоньше, — грустно говорила она, — но покупать себѣ стройность такою цѣною слишкомъ тяжело!

И вдругъ совершенно неожиданно нарывъ лопнулъ.

Какъ-то вечеромъ, прощаясь, баранъ кинулъ вскользь:

— А я завтра утромъ уѣзжаю.

Всѣ затрепетали, взметнулись.

— Какъ? Что? Куда? Быть не можетъ!

— Не вѣкъ же тутъ жить, — холодно отвѣтилъ баранъ. — Пора и домой.

Пять паръ глазъ переглянулись съ тоской и тревогой:

— Догадался!

— Неужели догадался?

— О, ужасъ!

— Обидѣлся!

— Стыдно! Стыдно! Стыдно!

Прощались съ бараномъ нѣжно и трогательно. Обѣщали писать и просили на память бараньи портреты. Хотѣли всѣ бѣжать на вокзалъ провожать, но баранъ уѣхалъ рано утромъ, и къ поѣзду поспѣлъ одинъ Ротовъ.

— Павелъ Павлычъ! Дорогой! Надѣюсь, вы сохраните не совсѣмъ плохое воспоминаніе обо всей нашей маленькой компаніи, душой которой вы были все время, — лепеталъ онъ, стараясь расчувствоваться.

— Хе-хе, дорогой мой, — надменно прервалъ его баранъ. — Вамъ надо еще полечиться. Ужъ очень вы всѣ какіе-то чувствительные! Само собой разумѣется, что я думаю обо всѣхъ васъ, какъ объ очень милыхъ людяхъ, но, по правдѣ говоря, — ужъ вы не сердитесь, — надоѣли они мнѣ всѣ до истерики.

— Какъ? Что? — выпучилъ глаза Ротовъ.

— Ну, да ужъ вы не сердитесь! Я, конечно, не о васъ, но эта Анна Ивановна съ ея цвѣтами и требованіями водить ее подъ-ручку! Вѣдь, это прямо не-при-лично! Это нагло! Ни малѣйшаго женскаго достоинства! Эти курсистки, которыя, очевидно, только о томъ и думаютъ, какъ бы выскочить за тебя замужъ... эти адвокаты съ заискивающими физіономіями, словно просящими: «Поручи намъ дѣльце! Дай заработать!» — Я, конечно, не о васъ... Согласитесь сами, что это противно! Вы

имъ только не передавайте. По-моему не хорошо людей обижать. А? Ну ужъ очень они мнѣ опротивѣли! Виснутъ! Я изъ-за этого и уѣзжаю, а то бы еще пожилъ. Здѣсь недурно. Въ хорошую погоду, по-моему, пріятно погулять. Вотъ въ дождикъ — хуже. Можно промокнуть. Неправда ли! По-моему, можно. Досвиданія, дорогой мой, адьесъ! Кланяйтесь имъ всѣмъ. Они, въ сущности, милые люди, а все-таки я радъ, что развязался. Адье-съ!

Поѣздъ давно уже отошелъ, а Ротовъ все стоялъ и смотрѣлъ на то мѣсто, гдѣ только что обрисовывалось въ окошечкѣ баранье лицо и откуда только-что блеялъ на него откровенный бараній ротъ . . .

— Такъ за что же мы губили себя такъ жестоко и такъ глупо?

ПРОДАВЩИЦА.

Мадмазель Мари съ утра одѣта и затянута въ рюмочку.

На головѣ у нея двадцать два локона цвѣта старой пакли, которые она каждый день пересчитываетъ, чтобы дѣвченки за ночь не отрѣзали парудругую для собственной эстетики.

Мадмазель Мари любитъ встрѣчать покупателей, стоя въ двухъ шагахъ отъ прилавка, повернувъ въ профиль свой вздернутый носъ.

Справа отъ нея три колонны бѣлыхъ картонокъ, слѣва — три колонны черныхъ. Сама она — какъ жрица этого таинственнаго храма, а прилавокъ — какъ алтарь, на которомъ грудой лежатъ хвосты и перья невинныхъ жертвъ.

Вотъ звякнулъ дверной колокольчикъ.

Мадмазель Мари дѣлаетъ выраженіе лица такое, какое, по ея мнѣнію, должно быть у француженки, вытягиваетъ шею, складываетъ губы бантикомъ и удивленно закругляетъ брови.

Взглянувшему на нее мелькомъ непремѣнно покажется, будто она понюхала что-то и не можетъ опредѣлить, что именно такое.

Въ такомъ видѣ она встрѣчаетъ покупательницу.

— Что угодно, мадамъ?

— Покажите мнѣ, пожалуйста, какую-нибудь шляпу.

— Мадамъ, конечно, хочетъ свѣтлую шляпу, потому что въ настоящее время никто темныхъ не носитъ.

— Нѣтъ, мнѣ именно нужно темную.

— Темную?

Лицо мадмазель Мари выражаетъ неожиданную радость.

— Темную? Ну, конечно, для мадамъ нужно темную, потому что только темная шляпа можетъ быть изящна. Ну, смотрите, вотъ эта, напримѣръ . . .

Она вынимаетъ изъ картонки пеструю шляпу.

— Вотъ эта. Чего только тутъ не накручено! Развѣ кто скажетъ, что это хорошо? Они себѣ тамъ навыдумывали въ Парижѣ всякаго нахальства, такъ мы тутъ изъ-за нихъ должны страдать. Зачѣмъ? Когда мы лучше купимъ изящную темную шляпу, такъ она . . .

— Позвольте, — перебиваетъ покупательница. — Покажите-ка мнѣ эту пестренькую; она кажется хорошенькая.

— Ага! — торжествуетъ мадмазель Мари. — Я уже вижу, что мадамъ понимаетъ толкъ! Ну, это же самая парижская новость. Ужъ новѣе этого только завтрашній день. Вы посмотрите, какъ это оригинально! А? Что? Посмотрите эти цвѣты! А? Развѣ это не цвѣты? Это цвѣты!

— Подождите, я хочу примѣрить.

Но мадмазель Мари примѣрить не даетъ. Она глубоко увѣрена, что каждая шляпа выигрываетъ надъ ея собственной физіономіей.

— Позвольте, я надѣну сначала на себя, такъ ужъ вы увидите.

Она надѣваетъ и медленно и гордо поворачивается передъ покупательницей. А покупательница смотритъ и не можетъ понять, отчего шляпа вдругъ перестала ей нравиться.

— Нѣтъ, отъ нея какъ-то щеки вылѣзаютъ, и носъ задирается. Нѣтъ, уже лучше я возьму что-нибудь темное.

— Темное? — радостно вспыхиваетъ мадмазель Мари, — ну, я же вамъ говорила, что если что можно носить, такъ это только темное. Вотъ могу вамъ предложить . . .

— Нѣтъ, я лиловаго не хочу. Мнѣ лучше что-нибудь синее.

— Синее?

Мадмазель Мари пріостанавливается, и видно, какъ въ ея головѣ проходитъ цѣлая вереница шляпъ. Она вспоминаетъ, есть ли у нея синяя.

— Синяя? Но знаете, мадамъ, синихъ теперь совсѣмъ не носятъ! Я даже удивилась, когда вы такое слово сказали. А впрочемъ . . . Лизка! Подай вонъ ту картонку. Вотъ, мадамъ, синяя . Ну, это же такая шляпа! Это кукла, а не шляпа! И самая модная. Это, замѣтьте себѣ, гусиное перо изъ настоящаго гуся!

— Подождите, дайте же мнѣ примѣрить.

— Позвольте, мадамъ, я сама, такъ вамъ будетъ виднѣе.

— Гм . . . Нѣтъ, и эта мнѣ не нравится. Все у васъ какіе-то такіе фасоны, что носъ задирается, а щеки висятъ.

— Ну, это же такая мода. Самая послѣдняя . . . Перо самое послѣднее . . . Фасонъ послѣдній и послѣдняя солома, — чего же вамъ еще?

— Покажите еще что-нибудь.

— Вотъ могу вамъ показать эту зеленую. Только уже это не то! Въ ней нѣтъ того шику.

— Нѣтъ, она мнѣ нравится.

— Она же не можетъ не нравиться! Это же кукла, а не шляпа! Ту желтую пусть себѣ старухи носятъ. А эта зеленая — это что же такое! . . Одна артистка ее увидѣла, такъ хотѣла десять шляпъ такихъ же заказать.

— Какъ, все одинаковыя?

— Ну. да! Это же очень практично! Одна шляпа помялась или выгорѣла, она себѣ надѣваетъ другую, а всѣ думаютъ, что это та же шляпа. Это чрезвычайно . . .

— Постойте, помолчите одну минутку, а то вы такъ много говорите, что я даже не понимаю, какого цвѣта шляпа.

— Самаго лучшаго цвѣта, мадамъ, самаго моднаго. И даже на будущій годъ это будетъ самая послѣдняя новость . . . Ай, зачѣмъ же вы надѣли, вы могли помѣрить на мнѣ! Но знаете, мадамъ,

вамъ въ этой шляпѣ такъ хорошо, какъ будто вы въ ней родились, ей-Богу! И что я вамъ посовѣтую: я вамъ положу пеструю ленточку вотъ сюда. У меня есть такая парижская ленточка, прямо кукла! Съ этой ленточкой это будетъ такая прелесть что прямо всѣ голову потеряютъ. Вотъ взгляните только . . .

— Нѣтъ, знаете, мнѣ безъ ленточки больше нравится.

— Безъ ленточки больше? — радостно переспрашиваетъ мадмазель Мари. — Ну, я уже вижу, что у мадамъ есть вкусъ. Это пусть они тамъ носятъ такіе штуки, но разъ у человѣка есть вкусъ, то ужъ . . .

— Помолчите, ради Бога, одну минуту, а то я ужъ сама себя въ зеркало не вижу.

— Позвольте, мадамъ, я надѣну на себя, такъ вы сразу увидите. Вотъ!

— Гм . . . Нѣтъ, знаете, она мнѣ не нравится. У васъ все какіе-то такіе фасоны . . . Я лучше послѣ зайду, въ другой разъ, вечеромъ.

Мадмазель Мари мѣняетъ лицо удивленной француженки на лицо оскорбленной француженки. Для этого она еще выше поднимаетъ брови и еще крѣпче сжимаетъ губы и стоитъ такъ, пока не затихнетъ разболтавшійся дверной колокольчикъ.

Когда колокольчикъ успокаивается, и теряется надежда, что покупательница одумается и вернется, лицо у мадмазель Мари принимаетъ самое обыкновенное интернаціональное выраженіе.

Она складываетъ въ картонки разбросанныя шляпы и расправляется съ ушедшей покупательницей безъ всякой жалости.

— Вы, вѣроятно, воображаете, мадамъ, что понимаете фасоны? У васъ, можетъ быть, модная мастерская? Или вы всегда живете въ Парижѣ? Попрошу васъ оставить нашъ магазинъ, ужъ довольно вы тутъ наболтали!

Do not copy

ВЕСЕЛАЯ ВЕЧЕРИНКА.

I.

Старуха Агафья успѣла уже убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучеръ все еще томился, ожидая возвращенія барина.

— Скоро одиннадцать, — ворчала Агафья, вытирая толстыя, обнаженныя по локоть руки и глядя изъ-подлобья на тоскующаго парня. — Другой бы матери помогъ, коли время вышло, а мой только на вечерины ходить умѣетъ, да новые сапоги трепать. И въ кого такой вышелъ! Вѣдь уродитъ же Господь!

Ванюшка молчалъ, хотя рѣчь была направлена прямо противъ него, такъ какъ онъ какъ разъ приходился Агафьѣ роднымъ сыномъ. Но ему было не до разговоровъ. Сегодня Танька, горничная земскаго начальника, устраиваетъ балъ. На балу будетъ только что выслужившій свой срокъ солдатъ Марковкинъ. Онъ хочетъ Таньку сватать, это всѣ знаютъ, но Ванюшка давно рѣшилъ перешибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъѣдетъ солдатъ съ поломанными ребрами!

Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая

новые сапоги. Его бѣлокурые волосы лоснятся отъ масла; подъ воротникомъ голубой сатиновой рубашки красуется ярко розовый муаровый бантъ, и это сочетаніе цвѣтовъ, во вкусѣ мадамъ Помпадуръ, придаетъ удивительно глупый видъ его толстому, безусому и безбровому лицу.

— И куда пойдешь, на ночь глядя? — ворчитъ мать, гремя посудой. — Угощенье все равно уже все съѣдено. Теперь парни, вѣрно, ужъ драться начали, только даромъ шею намнутъ. Раньше двѣнадцати баринъ отъ лѣсничаго не вернется. Пока лошадь уберешь — вотъ и первый часъ.

Сынъ молча вздыхаетъ.

— Чего молчишь-то? Ты вотъ ленту муровую у матери выпросилъ, а ты думалъ ли, чего эта лента матери стоила? Я ее, можетъ, къ причастію надѣть и то жалѣла, на смертное платье берегла. Барышня покойница дарила, не знала, видно, что ты въ ней на вечеринкахъ какъ лошадь ржать будешь...

Снова молчаливый вздохъ.

— Думаешь, ленту напялилъ, такъ за тебя Танька замужъ пойдетъ? Нѣтъ, парень! Не нашему носу рябину клевать — это ягода нѣжная! Марковкинъ-то почище тебя.

— Еще ничего неизвѣстно, — загадочно разинувъ ротъ, ухмыльнулся Ванюшка.

— Какъ неизвѣстно? — обрадовалась Агафья, что ей, наконецъ, удалось вызвать сына на пріятную бесѣду. — Все отлично извѣстно. Ничего у

тебя нѣту, и въ кучеренкахъ-то тебя держутъ потому, что мать жалѣютъ. Не вѣкъ мнѣ тоже въ кухаркахъ быть. Скоро ноги протяну. Безъ меня дня не останешься.

II.

Во дворѣ залаяла собака.

Ванюшка вскочилъ и, закутавъ горло шарфомъ, чтобъ не слишкомъ поразить хозяина своимъ стилемъ Помпадуръ, пошелъ убирать лошадь.

Черезъ десять минутъ, бодро поскрипывая по твердому снѣжному насту, бѣжалъ онъ къ дому земскаго начальника.

Маленькій городокъ давно уже успокоился. Фонари не горѣли, такъ какъ по календарю полагалась луна, почему-то въ этотъ день на небесное дежурство не явившаяся.

Въ окнахъ тоже было темно. Свѣтился только верхній этажъ городского клуба и трактиръ съ надписью «Для пріѣзжаю» («щихъ» не помѣстилось).

Ванюшка пересѣкъ главную улицу и, свернувъ влѣво, юркнулъ въ ворота маленькаго двухъ-этажнаго домика, занимаемаго земскимъ начальникомъ.

— Ну, куда же теперь? Тутъ темно, не напороться бы на что... Не то у ней кухня наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышелъ кто изъ парней...

Онъ повернулъ вправо и налѣзъ на какую-то обледенѣлую кадку. Прямо стѣна. Налѣво лѣстница. Входную дверь онъ, войдя, машинально захлопнулъ и теперь никакъ не могъ сообразить, съ которой стороны онъ вошелъ.

Медленно, нащупывая ступеньки руками и ногами, влѣзъ онъ во второй этажъ Здѣсь тоже оказалось темно, и онъ долго шарилъ руками, не находя дверей.

— Не! — рѣшилъ онъ. — Кухня у ней внизу. Надо было тамъ нащупать, либо выйти и въ окошко постучать.

И онъ, гремя каблуками, бокомъ сталъ спускаться съ лѣстницы. Онъ былъ уже почти въ сѣняхъ, какъ вдругъ страшный дикій крикъ, раздавшійся снизу, остановилъ его.

— Кто здѣсь! Стой, чортъ тебя возьми, не то я буду стрѣлять! ..

Ошеломленный Ванюшка замеръ на одномъ мѣстѣ.

Послышалось шуршанье спичечной коробки. Вспыхнулъ огонекъ.

Мелькнуло испуганно-свирѣпое лицо земскаго начальника.

— А-а, каналья! Попался! Я тебѣ покажу! Ты у меня узнаешь, гдѣ раки зимуютъ.

Ванюшка сдѣлалъ отчаянный прыжокъ, пытаясь увернуться отъ могучихъ рукъ земскаго начальника, ловившихъ его впотьмахъ . . .

Бацъ! Бацъ! Одна рука крѣпко держитъ за

шиворотъ голубую рубаху съ помпадуровымъ галстукомъ, другая, сжавшись въ кулакъ, дважды въѣхала въ Ванюшкину физіономію.

— Нѣтъ, голубчикъ, теперь не уйдешь!

И, продолжая наколачивать своего плѣнника, спотыкаясь и кряхтя, онъ поволокъ его вверхъ по лѣстницѣ.

Ванюшка молча упирался, медленно подвигался впередъ и отчаянно брыкалъ ногами.

III.

Ступеньки трещали, каблуки звонко щелкали, и спавшей наверху супругѣ земскаго начальника чудилось, будто какая-то взбѣсившаяся лошадь лѣзетъ къ ней по лѣстницѣ. Барыня зажгла свѣчку и, испуганно крестясь, сидѣла на кровати. Дверь въ спальню съ трескомъ распахнулась.

— Машенька! Вотъ рекомендую! — тяжело отдуваясь, торжествовалъ земскій начальникъ. Онъ поставилъ Ванюшку передъ изумленной барыней, продолжая держать его за шиворотъ и изрѣдка потряхивая.

— А? Хорошъ молодецъ? Возвращаюсь отъ лѣсничаго, смотрю — ворота настежь! Подлыя дѣвки со своими балами совсѣмъ одурѣли, ни за чѣмъ не смотрятъ. Завтра всѣхъ къ чорту! Поднимаюсь по лѣстницѣ... здравствуйте! Лѣзетъ голубчикъ! Я его подстерегъ, далъ немножко

спуститься, да цапъ за шиворотъ. У меня не отвертишься!

— Да ты осторожнѣй, Коленька, можетъ быть у него ножъ, — плаксиво затянула супруга.

Ванюшка съ перетянутымъ горломъ молчалъ, тяжело дыша, и только широко раскрывалъ ротъ, какъ рыба, которую лишили родной стихіи.

— Да вѣдь я... — попробовалъ было онъ, но тяжелый кулакъ, въѣхавъ ему подъ самый глазъ, снова отнялъ у него даръ слова.

— Молчать! — заревѣлъ земскій начальникъ. — Еще разговаривать! Благодари Бога, что я полицію не зову. Другой бы сгноилъ тебя въ острогѣ. Маршъ отсюда! Чтобъ духу твоего не было. И товарищамъ своимъ скажи, чтобъ дорогу ко мнѣ забыли.

И онъ снова собственноручно сволокъ Ванюшку съ лѣстницы, вытурилъ на улицу и заперъ ворота на засовъ.

Оставшись одинъ, Ванюшка пустился бѣжать безъ оглядки и только въ концѣ улицы немножко опомнился и оглядѣлся. Пиджакъ былъ разорванъ, изъ носу лила кровь, лицо горѣло и ныло. Ванюшка потеръ носъ снѣгомъ и захныкалъ.

— И чего онъ взбѣсился, чортъ окаянный! Что человѣкъ не въ ту дверь попалъ, такъ его по мордѣ лупить? Нѣтъ, это, братъ, тоже не показано! За это, братъ, тоже отвѣтить можешь. Закона такого нѣту, чтобъ народъ зря калѣчить!

Но вспомнивъ, что все равно теперь на вечерин-

ку не попадешь — ворота заперты, да и въ такомъ видѣ куда ужъ тутъ, Ванюшка снова захныкалъ и, грустно опустивъ голову, побрелъ домой.

IV.

Двери отворила заспанная и сердитая Агафья.

— Что! Готово! Воротился! У него мать помираетъ, а онъ по баламъ, какъ лошадь, ржетъ. У матери поясницу ломитъ, а ему хоть бы что! Другой бы хоть колбасы кусокъ съ гостей-то принесъ бы. На-те, молъ, вамъ, мамаша, покушайте. Отецъ-то покойникъ бывало...

Она зажгла лампочку и, взглянувъ сыну въ лицо, даже присѣла отъ изумленія.

— Батюшки свѣты! Родители вы мои долгоногіе! Да кто же это тебя такъ? Тутъ ужъ видно не одинъ, тутъ трое, либо четверо работало! Экъ тебя качаетъ! Ну, и нахлестался! Да скажи хоть слово!

Но Ванюшка молча стянулъ съ себя сапоги и, не раздѣваясь, легъ въ постель.

На другой день онъ проснулся поздно. Въ печкѣ трещали дрова, Агафья стучала ножомъ, а косоротая баба, разносившая по городу булки и сплетни, оживленно что-то разсказывала. Ванюшка, не вставая, сталъ прислушиваться.

— Онѣ, видишь, дѣвки-то, какъ пошли на вечеринку, ворота-то, стало быть, и не заперли. Подъ

вечерину-то у Картонихи комнату нанимали, земскій-то въ домѣ не позволилъ.

— Ч-чортъ! — чуть не вскрикнулъ Ванюшка.

— Ну, стало быть, разбойнику-то это и на руку. Онъ наверхъ-то пролѣзъ, все до чистика обобралъ, только, значитъ, барыню собрался рѣзать, а самъ-то тутъ, какъ тутъ!

— Ишь ты, — думаетъ Ванюшка. — Это, видно, ужъ послѣ меня кто-нибудь залѣзъ!

— Господи помилуй! — шепчетъ Агафья. — И какой нонѣ отчаянный народъ пошелъ!

— Ну, земскій его колошматилъ, колошматилъ, однако, тотъ вырвался и убѣжалъ.

— Ужъ вѣрно ихъ гдѣ-нибудь цѣлая шайка, запрятавшись, была. Одинъ не пойдетъ, — додумалась Агафья.

— Земскій Егорку кучера и Таньку, обоихъ вонъ выгналъ. Ну, да ей что! Ее вчера за солдата Марковкина просватали...

Со стороны кровати послышался тихій вой.

— Это что же? — удивилась торговка.

— Ванюшка съ перепою, — хладнокровно отвѣтила Агафья.

— Развѣ ужъ такъ напился?

— И-и! И не видывала никогда такихъ пьяныхъ. Что ни спросишь, молчитъ. Покойникъ мужъ, бывало, на четверенькахъ домой придетъ, а за словомъ въ карманъ не полѣзетъ.

— А ты бы его керосинцемъ бы помазала.

— Нѣшто полегчаетъ отъ керосину-то?

— Еще какъ! Старуха, Аннушкина мать, что у головихи въ нянькахъ, все керосиномъ лѣчится. Не нахвалится! Какъ, говоритъ, натрусь, да отхлебну маненько, такъ меня всю какъ огнемъ запалитъ. Прямо терпѣнья нѣтъ. Всякую боль отшибаетъ. Ничего ужъ тутъ не почувствуешь. На Рождествѣ ее головиха чуть вонъ не выгнала за керосинъто. Потерлась это она (простудившись была) и сидитъ въ кухнѣ на печкѣ. А головиха все ходитъ да принюхивается. Вошла въ кухню, ну и поняла, въ чемъ дѣло. Ругалась, ругалась! Вы меня, говоритъ, подлыя, подъ кнуты подведете, я еще черезъ васъ Сибири нанюхаюсь. Упадетъ, говоритъ, на старуху спичка, ее какъ синь порохъ взорветъ! А я отвѣчай! Звѣрь — головиха-то!

— И какъ ему всю рожу раздѣлали! — съ плохо скрытой материнской гордостью говоритъ Агафья. — Это ужъ никто, какъ солдатъ. Я сразу солдатову руку узнала. Губища — во! Прямо до полу свисла. Подъ глазомъ сивоподтекъ!

— Поди, по Танькѣ-то ревѣть будетъ, — не безъ злорадства вставляетъ торговка.

Агафья иронически фыркаетъ.

— Очень нужно! Важное кушанье, Танька-то ваша! Персона! Только и умѣетъ, что господскія тарелки лизать. Мой парень захочетъ жениться, такъ лучше найдетъ. Эдакій парень — ягода наливная!

V.

За дверью, со стороны хозяйскихъ комнатъ, послышался трескъ и какое-то глухое рычанье.

— Это у васъ что же? — любопытствуетъ торговка.

— Это баринъ чудитъ, — спокойно объясняетъ Агафья. — Вѣрно, вчера у лѣсничаго въ карты проигрался. Онъ всегда такъ, какъ проиграется. Потому, передъ барыней ему стыдно, вотъ онъ и оказываетъ себя.

Рычаніе приблизилось, сдѣлалось похожимъ на хриплый лай. Наконецъ, дверь распахнулась, и на порогѣ показалась озвѣрѣлая, всклокоченная фигура хозяина дома.

— Послать ко мнѣ Ваньку дармоѣда, — залаялъ онъ, — я ему покажу, какъ лошадь безъ овса оставлять!

Тррахъ! — дверь захлопнулась, и вскочившая Агафья лопочетъ въ пустое пространство.

— Ванюшка хворый лежитъ! . . . Точно такъ-съ! Онъ за водой ушедши!... Точно такъ-съ! Сейчасъ его кликну.

Ванюшка испуганно натягиваетъ сапоги, не попадая въ нихъ ногами.

— Господи! — ахаетъ торговка. — Личико-то! Личико-то! Харю-то евонную посмотри!

Ванюшка ринулся во дворъ.

— Ишь, какимъ козыремъ, — ворчала вслѣдъ ему Агафья. — На мать и не взглянулъ. Другой

бы земляной поклонъ сдѣлалъ. Простите, молъ, маменька, что вы меня свиньей на свѣтъ родили!

Дверь съ трескомъ отворилась, и Ванюшка неестественно скоро вбѣжалъ въ кухню. Онъ растерянно оглядывался запухшими глазами и растиралъ рукой затылокъ.

— Хымъ! Хымъ, — хныкалъ онъ, — на старыя-то дрожжи! Очень мнѣ нужно твое мѣсто. Я мѣстовъ сколько угодно найду! Не дорожусь!

— Мати Пресвятая Богородица! — заголосила Агафья. — Прогналъ его баринъ, пьяницу, лежебоку-дармоѣдину! Куда-жъ я съ нимъ теперь... За что же онъ тебя выгналъ-то?

— Да, гритъ, зачѣмъ по баламъ шляюсь и зачѣмъ морду изувѣчилъ. На козлы, гритъ, срамъ, посадить, — гнуситъ Ванюшка, тупо смотря въ землю.

Торговка радостно волнуется и суетится, какъ репортеръ на пожарѣ.

— Такъ зачѣмъ же ты далъ эдакъ себя наколотить? — допытывается она. — Нѣшто можно столько человѣкъ на одного? Али ужъ очень выпивши былъ на вечеринкѣ-то?

VI.

Ванюшка вдругъ быстро-быстро захлопалъ глазами и, низко оттянувъ углы распяленнаго рта, жалобно всхлипнулъ.

— И нигдѣ я не былъ... И на вечеринкѣ не былъ...

— Господи! Навожденіе египетское! Такъ съ кѣмъ же ты дрался-то?

— И ни съ кѣмъ не дрался... На земскаго напоролся!..

— Молчи! — строго цыкнула Агафья. — За эдакія слова знаешь куда?! Что тебѣ земскій тынъ, аль частоколъ? Какъ ты на него напороться могъ, ракъ ты урожденный.

И она занесла было свою карающую длань, но торговка властно остановила ее и, указавъ на Ванюшку, многозначительно постукала себя пальцемъ по лбу.

— Ишь ты, — опѣшила Агафья. — Отецъ-то покойничекъ тоже пивалъ. Только къ нему все больше эти, съ хвостиками, приходили. А земскій нѣтъ. Земскимъ его не морочило.

— Вотъ что, парень, — дѣловымъ тономъ начала торговка. — Ты лягъ себѣ да отлежись. Вонъ, матка тебя керосинцемъ потретъ. А ужъ я твое дѣло улажу. Въ ножки поклонишься! Да мнѣ не нужно, я вѣдь не гонюсь. Безъ мѣста, стало, не останешься. Земчиха меня сегодня просила, мужъ-то ейный Егорку-то изъ-за вора съ кучеровъ прогналъ, такъ вотъ, значитъ, не найду ли ей парня, чтобъ за лошадью умѣлъ ходить. Я-то вѣдь еще не знала, что тебя выгонятъ. А вотъ теперь пойду да и предоставлю, что ты, молъ, желаешь.

Успокоившійся было Ванюшка вдругъ дико

взвылъ и, выпучивъ въ ужасѣ подбитые синя ми глаза, вскочилъ на ноги.

Бабы шарахнулись въ сторону и, подталки другъ друга, вылетѣли во дворъ.

— Не! Тутъ керосинъ не поможетъ, — оза(ченно разводя руками, рѣшила торговка. — Б ги, матушка, къ головихѣ, у ейной старухи четв(говая соль, дай съ хлѣбцемъ понюхать.

Агафья охала и чесала локти.

— Пойтить разсказать, — задумчиво прошеп ла торговка и, повертѣвъ головой, какъ ворона подоконникѣ, пустилась вдоль улицы.

Do not copy

ПУГОВИЦА.

Когда поѣздъ тронулся, Катя сняла шляпку, оправила шарфикъ и вдругъ вскрикнула:

— Ай, какая досада! Посмотри! Купила такія чудныя дорожныя перчатки, только что надѣла, и вотъ ужъ пуговицы нѣтъ.

Трубниковъ, Катинъ мужъ, покачалъ головой сокрушенно, и такъ какъ былъ женатъ на Катѣ всего два съ половиной мѣсяца, то и ~~не~~ отвѣтилъ ей на это:

— Сама, милая моя, виновата. Нужно прикрѣплять новыя пуговицы.

Или:

— У тебя, мать моя, вѣчныя исторіи. Все не какъ у людей!

Или:

— Нужно, матушка, подъ ноги смотрѣть, а не зѣвать по сторонамъ, — вотъ и будешь замѣчать, когда съ тебя пуговицы валятся.

Или что-нибудь другое, глубокое и мудрое, что говорятъ вдумчивые мужья, когда съ ихъ женами приключается непріятность.

Трубниковъ только поцѣловалъ ей руку, какъ

разъ тамъ, гдѣ не хватало пуговицы у перчатки, и сказалъ весело:

— А вотъ я и починилъ!

Но его веселость Катѣ что-то не понравилась.

— Очень глупо. Конечно, вамъ все равно, если ваша жена будетъ одѣта, какъ кухарка!

— Голубчикъ, что ты говоришь! При чемъ тутъ кухарка?! Да ты поверни руку. Смотри, — совсѣмъ даже и не замѣтно, что пуговица оторвана.

— Вамъ не замѣтно, а другимъ замѣтно. Именно по мелкимъ деталямъ и отличаютъ элегантную женщину отъ обыкновенной.

— Ну, разъ это такъ важно, надѣнь какія-нибудь другія перчатки.

— Благодарю за совѣтъ, — иронически прищурилась Катя. — Я купила спеціально для этого путешествія дорожныя перчатки, а поѣду «въ какихъ-нибудь другихъ». Вы очень находчивы.

Трубниковъ замолчалъ и запечалился.

— Не надо было жениться на умной женщинѣ, — думалъ онъ. — Съ существомъ обыкновеннымъ живо можно сговориться и убѣдить, а у Катерины такой ясный способъ мышленія и такая желѣзная логика, что я вѣчно буду раздавленъ ею.

Катя достала книгу, но видно было, что она не читаетъ ее, а только смотритъ на строчки.

— И о чемъ она думаетъ? — мучился Трубниковъ. — Вѣрно, догадалась, что я — дуракъ, и жалѣетъ о своей загубленной жизни.

— Жаль, — вдругъ сказала Катя. — Очень жаль!

— Ч-чего тебѣ жаль, голубка? — весь затрепеталъ Трубниковъ.

— Жаль, что мы не заѣдемъ въ Вѣну. Въ Вѣнѣ я скорѣе могла бы подобрать подходящую пуговицу, потому что продавщица говорила, что это перчатки вѣнскія. И, дѣйствительно, я не понимаю, почему мы должны были непремѣнно ѣхать черезъ Берлинъ, а не черезъ Вѣну? Вѣдь, ѣхала же Оля Попова черезъ Вѣну, а насъ непремѣнно несетъ черезъ Берлинъ. Это все твое упорство.

— Дорогая . . . Но, вѣдь, Оля Попова, насколько я понимаю, ѣхала въ Италію, а мы — въ Мюнхенъ.

— Ничуть не въ Италію. Это она сначала думала, что поѣдетъ въ Италію, а потомъ поѣхала изъ Вѣны къ бабушкѣ въ Кіевъ. Берешься спорить, не зная фактовъ. Но довольно объ этомъ. Придется поискать пуговицу въ Берлинѣ. Въ другой разъ, во всякомъ случаѣ, не довѣрю никому постороннему составлять для меня маршрутъ . . .

— Да, вѣдь, если бы я зналъ . . . — началъ Трубниковъ и осѣкся. Онъ просто хотѣлъ сказать: «Я не зналъ, что ты потеряешь пуговицу», — но не посмѣлъ. А Катя посмотрѣла на него холодными глазами и сказала, поджимая губы:

— Вотъ въ томъ-то и дѣло, что вы ровно ничего ни о чемъ не знаете.

— Кончено! — оборвалось что-то въ душѣ у Трубникова. — Догадалась! Догадалась, что я — дуракъ. Господи, что-то будетъ, что-то будетъ!

На путешествіе у Трубниковыхъ времени было въ обрѣзъ. Патронъ, пославшій молодого Трубникова по своему дѣлу въ Мюнхенъ, расчиталъ вѣрно и аккуратно и велѣлъ вернуться въ срокъ и нѣсколько разъ повторилъ свой наказъ, догадываясь, что молодой мужъ потащитъ съ собой и Катю.

Трубниковъ, хотя и понималъ всю важность возложеннаго на него порученія, никакъ не могъ ѣхать безъ Кати, которая еще ни разу не была за границей и такъ обрадовалась возможности поѣхать туда вмѣстѣ.

Два вечера составляли планы, куда пойти и что осмотрѣть.

Въ Берлинѣ, прежде всего, Акваріумъ, гдѣ ползаетъ живой осьминогъ, потомъ зоологическій садъ, потомъ ресторанъ Кемпинскаго, потомъ къ Вертгейму — покупать для Кати жакетку, потомъ рейхстагъ, потомъ египетскій музей и, наконецъ, даже университетъ. Это послѣднее придумалъ самъ Трубниковъ, чтобы поважничать передъ Катей своими научными интересами и тѣмъ помѣшать ей догадаться, что онъ глупый.

Пріѣхали въ Берлинъ поздно вечеромъ, усталые и сердитые. Катя отказалась даже пройтись передъ сномъ по улицѣ. Къ чему! Магазины закрыты, пуговицы все-равно не купишь, а смотрѣть на Берлинъ, который она всегда инстинктивно ненавидѣла, ей совсѣмъ не весело. Другое дѣло, если бы это была Вѣна, чудесная, веселая Вѣна, страна вальсовъ, въ которой такіе великолѣпные магазины и

фабрики, что поставляютъ на весь міръ разныя вещи, напримѣръ, перчатки.

Трубниковъ въ угоду женѣ ругалъ Берлинъ со всѣмъ пыломъ любящаго мужа, и утромъ долго увѣрялъ, что ему противно выйти на улицу. Однако, выйти пришлось, такъ какъ рѣшено было для очистки совѣсти поискать въ Берлинѣ пуговицу.

Посмотрѣли въ двухъ-трехъ магазинахъ, но подходящей не нашли. То мала и, значитъ, будетъ растегиваться, то велика и, значитъ, не будетъ застегиваться, то не тотъ рисунокъ и, значитъ, не подходитъ къ остальнымъ. Въ двухъ магазинахъ Катя усмѣхнулась горько и сказала мужу:

— Я вѣдь говорила!

Въ третьемъ Трубниковъ забѣжалъ впередъ и самъ усмѣхнулся горько и сказалъ: — Я вѣдь говорилъ!

Потомъ пошли завтракать, причемъ Катя ѣла съ такимъ выраженіемъ, точно говорила:

— Хотя судьба и заставляетъ меня нести крестъ, я все-таки имѣю право ѣсть, когда я голодна.

А Трубниковъ жевалъ смиренно и кротко, словно отвѣчалъ ей:

— Ну, хорошо, ну, пусть я — идіотъ, но пока ты не убила меня, поѣмъ немножко, если не запретишь!

Этотъ молчаливый разговоръ такъ занималъ обоихъ, что прекратился только тогда, когда они вышли на улицу.

— Теперь куда? — спросилъ онъ робко. — Мо-

жетъ быть, въ Акваріумъ, — тамъ живой осьминогъ . . .

— Нѣтъ, ужъ избавьте! Меня и безъ того тошнитъ.

— Такъ, можетъ быть, къ Вертгейму за жакеткой? Вѣдь тебѣ такъ нужна хорошенькая жакетка! Прямо необходима. Ты, вѣдь, такая элегантная! — лебезилъ Трубниковъ.

Катѣ самой хотѣлось поѣхать за жакеткой, но такъ какъ это предложилъ мужъ, съ которымъ только что установились такія интересныя отношенія тягучей ссоры, въ которой ей была предоставлена такая выигрышная и захватывающая роль, отъ которой изъ-за какой нибудь ерунды отказываться было бы прямо глупо, то она слегка топнула ногой и протянула плаксиво:

— Не могу я думать о вашихъ дурацкихъ жакетахъ, когда у меня въ головѣ пуговица!

Пошли на Лейпцигштрассе, о которой значилось въ Бедекерѣ, что она — самая торговая. Стали искать пуговицу. Заходили во всѣ подходящіе магазины подъ-рядъ, но на углу запутались и вошли второй разъ въ тотъ же магазинъ, причемъ приказчикъ, объясняя имъ ихъ ошибку, позволилъ себѣ усмѣхнуться. Трубниковъ раздулъ ноздри и хотѣлъ немедленно вызвать приказчика на дуэль, но пока собирался, тотъ полѣзъ куда-то на верхнюю полку, а ждать, пока онъ оттуда слѣзетъ, было унизительно. На улицѣ Катя стала доказывать, что онъ самъ виноватъ, потому что ведетъ себя вызываю-

ще и спрашиваетъ про пуговицу всегда вызывающимъ тономъ.

Потомъ пошли обѣдать, а послѣ обѣда, «чтобы немножко отдохнуть отъ этого ужаснаго Берлина», Катя легла спать. Отдохнули такъ хорошо, что еле успѣли на вечерній поѣздъ.

Въ вагонѣ было тѣсно и душно, и Трубниковъ всю ночь говорилъ женѣ про Вѣну и про пуговицу, называя послѣднюю изъ подлости «пуговка» и «пуговочка»; но когда замѣтилъ, что это не вызываетъ въ Катѣ ни удовольствія, ни нѣжности къ нему, сталъ говорить съ достоинствомъ и вдумчиво просто «пуговица».

Въ Мюнхенѣ Катя окончательно упала духомъ и, пока Трубниковъ ѣздилъ по дѣламъ, проплакала у себя одна въ номерѣ, заперевъ двери на ключъ и на задвижку, чтобы прислуга не подсмотрѣла.

Трубниковъ, выполнивъ порученіе своего патрона кое-какъ, потому что въ головѣ у него была только пуговица, по дорогѣ домой три раза слѣзалъ съ извозчика, чтобы забѣжать въ подходящіе магазины, — вдругъ здѣсь найдется, вотъ бы Катя обрадовалась! Но отъ усталости и растерянности чувствъ въ одномъ магазинѣ забылъ, какъ по нѣмецки пуговица, а въ другомъ — какъ перчатка, а въ третьемъ — и то, и другое.

Дома, при видѣ опечаленной жены, онъ самъ всхлипнулъ и вдругъ озарился мыслью:

— Катя, дорогая! Плевать на патрона, ѣдемъ домой черезъ Вѣну.

Она усмѣхнулась распухшими губами:

— Если вы хотите... мнѣ все равно, но я предпочитала бы вернуться домой.

— Нѣтъ, этого я не допущу! — воскликнулъ, весь задрожавъ, Трубниковъ. — Мы оба такъ любимъ Вѣну! Глупо было бы не посмотрѣть ее, когда мы въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды. Когда еще попадемъ въ другой разъ.

Онъ чувствовалъ въ себѣ необычайный подъемъ энергіи. Звонко чмокнулъ Катину руку и побѣжалъ на вокзалъ за билетами.

Она что-то робко пищала ему вслѣдъ, но онъ не слушалъ, и на другое утро они уже стояли передъ вѣнскимъ носильщикомъ, и Трубниковъ спрашивалъ дѣловымъ тономъ:

— Какая здѣсь у васъ, милый мой, самая торговая улица?

И носильщикъ, отвѣчая, смотрѣлъ на Трубникова съ глубокимъ уваженіемъ.

— Можетъ быть, мы сначала осмотримъ городъ? — вдругъ предложила Катя.

— Нѣтъ, дорогая моя. Прежде надо покончить дѣло, а тамъ ужъ можемъ приняться за удовольствія, — отвѣчалъ Трубниковъ и думалъ, сладко замирая:

— А вѣдь я, кажется, вовсе даже не дуракъ! Прямо, очень даже не дуракъ! Хо!

Онъ бодро вбѣгалъ въ магазины и выкрикивалъ:

— Есть у васъ пуговица для перчатки круглая, плоская, большая, съ двумя дырочками?

Потомъ завтракали, потомъ обѣдали. Времени до поѣзда оставалось еще много, такъ что, купивъ пуговицу, можно было еще успѣть посмотрѣть хоть Пратеръ или мостъ черезъ Дунай.

Катя была, видимо, подавлена энергіей мужа и, ввѣривъ ему судьбу свою и своей пуговицы, молчала и только вздыхала.

Времени оставалось все меньше, и уже пора стало подвигаться ближе къ вокзалу, какъ вдругъ въ одной маленькой лавченкѣ, куда Трубниковъ зашелъ только для очистки совѣсти, равнодушный приказчикъ вытащилъ какую-то коробку и равнодушно раскрылъ ее.

— Катя! — вскрикнулъ Трубниковъ. — Катя, взгляни! Вѣдь это, по-моему, какъ разъ тѣ самыя пуговицы! Дорогая!

Онъ весь дрожалъ и даже приплясывалъ на мѣстѣ.

Но Катя равнодушно подняла брови.

— Нѣтъ, онѣ слишкомъ малы.

— Что? Что ты говоришь? Ничуть не малы! Давай сюда скорѣй свои перчатки. Гдѣ онѣ у тебя?

— А я тебѣ говорю, что малы! — И она повернулась къ выходу.

— За что ты убиваешь меня? — завопилъ вдругъ Трубниковъ, хватая ее за руку. — Заклинаю тебя! Объѣздили всю Европу... нашли, а ты не хочешь! Дай мнѣ только свои перчатки!

— Не могу.

— Что? Что не могу?

Она вдругъ всхлипнула.

— Оттого, что я ихъ... я ихъ еще въ Берлинѣ потеря-ала!

На журфиксѣ у Рыловыхъ былъ художникъ Коптилко, жантильничалъ передъ дамами радужными манжетами и спрашивалъ у Кати Трубниковой:

— Понравился Вамъ въ Мюнхенѣ Глясъ Паласъ?

— Какой?

— Глясъ Паласъ?

— Жена вообще не любитъ Мюнхена, — закричалъ Трубниковъ черезъ вазу съ апельсинами.

— А Берлинъ вы любите? — вертѣлъ манжетами художникъ Коптилко.

— Н-да, только онъ такой странный... Тамъ, напримѣръ, нѣтъ совсѣмъ среднихъ пуговицъ, а все или очень большія или очень маленькія. А въ Вѣнѣ — масса пуговицъ, но все больше выпуклыя.

— Счастливая Катерина Николаевна! — воскликнула хозяйка дома. — Вдругъ бросила нашъ туманный Петербургъ и понеслась въ блестящую Европу. Путешествіе такъ освѣжаетъ!

— Освѣжаетъ и расширяетъ кругозоръ, — увѣренно подтвердилъ Трубниковъ.

Онъ больше уже не боялся, что Катя кое о чемъ догадается.

МАМКА.

Дверь на черную лѣстницу вздрогнула отъ удара властнаго кулака.

— Свои! свои! Отпирай, нечего!

Кухарка Ѳедосья, штопавшая натянутый на деревянную ложку чулокъ, бросила работу и открыла дверь.

— Здравствуй! Здравствуй!

Швейцаръ Вавилычъ, щурясь на лампу, снялъ фуражку:

— Ну, гдѣ же ваше чучело-то? Мнѣ долго валандаться недосугъ. Звала письмо писать, такъ и должна быть готова.

— Присядьте, Иванъ Вавилычъ, я ее кликну.

Кухарка заглянула въ комнаты.

— Идетъ наша чучела.

Чучело вошло и оказалось господской мамкой, въ пестромъ ситцевомъ сарафанѣ, простоволосой съ кроткимъ безбровымъ личикомъ. Вся она была маленькая и словно на смерть перепуганная — глаза выпученные, ротъ открытый.

— Ну, чего же ты, ползешь — не ползешь! — привѣтствовалъ ее Вавилычъ.

— Дитю кормила, — отвѣчала мамка изъ почтительности шопотомъ.

— Бумагу приготовила? Перо, чернила? Что же я тебѣ сапогомъ на стѣнѣ писать буду, что ли.

— Ѳедосья Микитишна обѣщала бумажку-то спроворить.

— На, бери, не скули.

Ѳедосья достала изъ кухоннаго стола продолговатый листокъ шершавой англійской бумаги съ большой монограммой и графской короной.

Швейцаръ одобрилъ.

— Инъ ладно. Можно и на такой. Ну-съ. Что же тебѣ писать? Кому пишешь-то?

Мамка медленно и молча стала подымать подолъ сарафана. Подняла, разыскала въ нижней клѣтчатой юбкѣ карманъ, вытащила носовой платокъ, напоминавшій размѣрами салфетку, медленно опустила сарафанъ и тогда уже всхлипнула и вытерла глаза и носъ.

— Тьфу ты пропасть! — сплюнулъ швейцаръ. — Бѣда съ этими деревенскими. Какъ письмо писать, такъ онѣ плакать. И чего, дура, ревешь. Что ты хоронишь кого, что ли?

— Перестань ты, чучело, — ввязалась и кухарка. — Молоко скиснетъ.

— Кому пишешь-то. Ну?

Мамка молча сморкалась.

— Матери, что ли?

— Матери, — всхлипывающій шепотъ . . .

— Такъ что же писать-то?

— А вы лучше знаете, вы ученые.

— Ну, значитъ: во первыхъ строкахъ письма поздравляемъ съ праздникомъ, низко кланяюсь маменькѣ нашей . . . какъ звать-то?

— Матреной. Матреной Ивановной.

— Ну-съ, значитъ, Матренѣ Ивановнѣ . . . гм . . . и на вѣки ненарушимо. Еще какая родня-то?

— Тетенька Катерина Ивановна, сестрица Пелагея Петровна и братецъ Андрей Петровичъ и новопреставленный Савва и дяденька Егоръ Ивановичъ.

— Подожди, не спѣши. Савва, значитъ, Петровичъ?

— Нѣ-ѣтъ. Ой, что вы. Какой же онъ Петровичъ! Иванычъ, а не Петровичъ.

— Подожди, не спѣши. Теперь тутъ у тебя въ городѣ какая родня, отъ кого поклоны слать?

— Да нѣту у ей никого здѣсь,— сказала кухарка.

— Какъ нѣту? — испугалась мамка. — Очень даже есть. Невѣстка есть и своякъ есть и сдвуродная сестрица Лукерья.

— Чего же они тебя не провѣдали-то?

— Да не знаютъ они, гдѣ я. Какъ же они могутъ знать-то!

— Такъ послала бы имъ открытку, чучело! Ревешь, ревешь, а позвать не догадаешься.

Лицо у мамки сдѣлалось совсѣмъ страдальческое.

— Послать-то нельзя къ нимъ. У нихъ адресъ!

— Что-о?

— Адресъ у нихъ! Кабы у нихъ адресу не было, я бы сама къ нимъ сбѣгала. А у нихъ адресъ...

— Да что ты плетешь-то? — удивился швейцаръ.

— Я правду говорю. Вонъ, у насъ въ деревнѣ адресу нѣтъ, такъ я кого угодно найду. А здѣсь у каждаго человѣка адресъ. Да и не одинаковый: у свояка одинъ, а у невѣстки другой, а у сдвуродной Лукерьи опять особый. А барыня вчерась сказала, что у меня теперь адресъ тоже есть, и что безъ адресу меня никто и не на-де-отъ!

Мамка вся сморщилась, такъ что слезы брызнули на пеструю грудь сарафана.

— Ишь, реветъ, — даже испугался швейцаръ. — Да что она тебѣ адресъ-то свой сказала?

— Говорила, да вѣдь адресъ-то все равно никто запомнить не можетъ!

Швейцаръ раздумчиво почесалъ въ бородѣ.

— Ч-чортъ! Что же я тебѣ писать то буду?

— Да ужъ напишите побольше, вы ученые, вы лучше знаете.

Круглые, испуганные глаза смотрѣли съ мольбой и отчаяніемъ.

Швейцаръ вздохнулъ.

— Ну, дѣлать нечего, буду писать отъ себя что-нибудь интеллигентное... Гм... и низко кланяюсь... отъ Господа добраго здоровья... авіація достигаетъ спеціальныхъ размѣровъ производства... сезонная жизнь въ полномъ разгарѣ... и въ чаду маскарадныхъ наслажденій отдаемся

азарту бѣшеныхъ страстей. . . Остаюсь извѣстная дочь — Марфа, что ли?

— Мавра.

— Дочь Мавра. А за нее по неграмотности Иванъ Вавиловъ Копровъ.

Швейцаръ окружилъ свою подпись сіяніемъ, украсилъ завитушками, полюбовался и передалъ письмо мамкѣ.

— Смотри, не размажь! Деревня! Довольна, что ли?

— Дай тебѣ Господи здоровья!

— Да и не плачь ты, Иродица. Ну и нар-родъ!

Do not copy

РЕВНОСТЬ.

Почти каждый день вы найдете въ газетахъ извѣстіе о томъ, что кто-нибудь совершилъ убійство. И до такой степени стало это обычнымъ, что даже не дочитываешь до конца — все равно знаешь напередъ, что изъ ревности.

Да и не одно убійство! Самые разнообразные преступленія и проступки объясняются ревностью.

Чтобы бороться съ этимъ ужаснымъ зломъ, французы выстроили даже спеціальную лечебницу для ревнивыхъ и пользуютъ ихъ съ большимъ успѣхомъ.

Чувствуется, что не сегодня — завтра найдутъ микробъ ревности, и тогда дѣло будетъ поставлено на вполнѣ научныхъ основаніяхъ.

Да и пора.

Ревность въ человѣчествѣ растетъ и ширится и захватываетъ, казалось бы, совсѣмъ неподвѣдомственныя ей учрежденія.

Какъ вамъ, напримѣръ, понравится такая исторія:

«Крестьянинъ Никодимъ Д., проживающій на Можайской улицѣ, пришелъ къ своей знакомой, мѣ-

щанкѣ АнисьѢ В., и сталъ требовать отъ нея денегъ. Когда же Анисья денегъ дать отказалась, крестьянинъ Д. изъ ревности перерѣзалъ ей горло».

Недаромъ писалъ Соломонъ: «Люта, какъ преисподняя, ревность!»

«Мѣщанинъ К. убилъ лавочника и ограбилъ выручку. Преступленіе свое объясняетъ ревностью».

«На Николаевскомъ вокзалѣ арестовали извѣстнаго желѣзнодорожнаго вора. Пойманный какъ разъ въ ту минуту, когда тащилъ бумажникъ изъ кармана зазѣвавшагося пассажира, воръ объяснилъ свой поступокъ сильной вспышкой ревности. По его словамъ и всѣ предыдущія кражи онъ совершалъ подъ вліяніемъ этого грознаго чувства».

Присяжные, сами, въ большинствѣ случаевъ, люди ревнивые, всегда оправдываютъ преступленіе изъ ревности.

А сколько ужасовъ, никому неизвѣстныхъ или извѣстныхъ очень немногимъ, причиняетъ супружеская ревность!

Одна молодая дама пріѣхала весной къ себѣ домой изъ Гостинаго двора. Извозчикъ ей попался на бѣлой лошади, которыхъ многіе избѣгаютъ въ весеннее время, чтобы не пачкать платье.

Мужъ встрѣтилъ даму очень сурово и, окинувъ взглядомъ ея костюмъ, воскликнулъ со злымъ торжествомъ:

— И вы будете отрицать, что ѣздили на свиданіе?

Дама отрицала, объясняла, показывала сдѣланныя ею покупки.

— Хорошо-съ! — холодно отвѣтилъ мужъ. — Но не будете ли вы любезны открыть мнѣ имя старика, который линялъ на ваше платье?

И онъ указалъ на клочья бѣлыхъ лошадиныхъ волосъ, прилипшихъ къ колѣнямъ несчастной.

Пораженная неопровержимой уликой, бѣдная женщина тутъ же согласилась на разводъ, взяла на себя вину и обязанность выплачивать алименты пострадавшей сторонѣ, которая съ большимъ трудомъ утѣшилась, женившись на собственной кухаркѣ.

Но тяжелѣе и хуже всѣхъ этихъ убійствъ одна тихая семейная драма, о которой изъ постороннихъ знала только я одна, и то случайно.

Здѣсь рѣчь идетъ о ревности, которая втерлась въ душу любящей женщины, развратила ея любящаго и вѣрнаго мужа и разрушила долголѣтній союзъ.

Жили эти супруги очень дружно въ продолженіе 6-ти лѣтъ. Срокъ не малый для современнаго чувства.

Вотъ какъ-то пріѣхала къ женѣ, которую назовемъ для удобства Марьей Ивановной (собственно говоря, для моего удобства, потому что, разсказывая о двухъ женщинахъ, изъ которыхъ каждая въ отдѣльности «она», — очень легко запутаться), ея пріятельница и осталась обѣдать.

Подруги сидѣли уже за столомъ, когда прибѣ-

жалъ со службы мужъ Марьи Ивановны. Обѣдали, разговаривали.

Только замѣчаетъ Марья Ивановна, что мужъ ея что-то неестественно оживленъ. Она стала приглядываться.

Когда гостья ушла, Марья Ивановна сказала мужу:

— Неужели она тебѣ такъ понравилась?

— Да, она славная, — отвѣчалъ тотъ.

— Что же тебѣ въ ней такъ понравилось?

— Да просто я въ хорошемъ настроеніи. Мнѣ сегодня обѣщали прибавку и отпускъ.

Дѣло, казалось бы, естественное, но Марья Ивановна, какъ тонкій психологъ, поняла, что это просто мужской вывертъ, и продолжала:

— У нея чудные глаза! Не правда ли?

— Да? Не замѣтилъ. Нужно будетъ поглядѣть.

— Что за руки! Нѣжныя, ласковыя, такъ и хочется поцѣловать. Правда? Я приглашу ее завтра. Хорошо?

— Хорошо, хорошо. Нужно будетъ посмотрѣть на нее повнимательнѣе, разъ ты такъ восхищаешься.

На другой день мужъ внимательно смотрѣлъ на пріятельницу и часто цѣловалъ ей руки, а Марья Ивановна думала: «Ага»!

Черезъ два дня, когда онъ сильно опоздалъ къ обѣду, Марья Ивановна сказала, поджимая губы:

— Ты былъ на набережной и гулялъ съ Лизой.

— Что-о?

— Пожалуйста, не притворяйся. Ты прекрасно

знаешь, что она въ эти часы гуляетъ по набережной. Конечно, тебѣ пріятно пройтись съ такой красивой женщиной, на которую всѣ оборачиваются. Это, говорятъ, совсѣмъ особенное чувство.

Мужъ Марьи Ивановны, человѣкъ молодой и по натурѣ довольно увлекающійся, хотя и сдержанный, немножко призадумался. Думалъ онъ дня два, а на третій, выходя со службы, нанялъ извозчика прямо на набережную, разыскалъ тамъ пріятельницу своей жены и проводилъ ее домой.

— Ты конечно уже пригласилъ ее съ собой въ театръ? — спросила его Марья Ивановна, наливая остывшій супъ.

Мужъ растерянно пожалъ плечами, — ему и въ голову не пришло!

Но черезъ нѣсколько дней онъ уже исправилъ свою ошибку и повелъ пріятельницу жены въ «Фарсъ».

На другое утро Марья Ивановна сказала ему:

— Гдѣ вы ужинали?

Онъ молчалъ. Ему стыдно было признаться, что онъ не догадался пригласить свою даму въ ресторанъ.

— Я васъ спрашиваю, гдѣ вы вчера съ ней ужинали? — гнѣвно настаивала Марья Ивановна и, не дождавшись отвѣта, ушла, хлопнувъ дверью.

Цѣлую недѣлю она съ мужемъ не разговаривала.

Бѣднякъ мучился несказанно. Онъ уже успѣлъ за это время побывать съ пріятельницей въ ресторанѣ, но совершенно не зналъ, что ему дѣлать даль-

ше. Безъ опытныхъ наставленій жены онъ былъ какъ безъ рукъ.

— Что мнѣ дѣлать? Что мнѣ дѣлать? — думалъ онъ. — Нельзя же все гулять да ужинать! Надоѣстъ!

На седьмой день жена сказала, презрительно поджимая губы:

— Чего же вы сегодня дома? Такая чудная погода. Везите вашу пассію въ Павловскъ! Цѣлуйтесь съ ней подъ каждымъ кустомъ! Вы думаете, я не знаю, куда вы съ ней ѣздите? Ха-ха!

Мужъ схватилъ пальто и радостно выбѣжалъ на улицу. Теперь, слава Богу, онъ зналъ, что нужно дѣлать.

Черезъ недѣлю жена наклеила на окна билетикъ:

— Разъ вы рѣшили съ осени жить вмѣстѣ, — съ достоинствомъ объяснила она, —то я хочу во время сдать квартиру. Для меня одной она слишкомъ велика.

Мужъ вздохнулъ и пошелъ къ пріятельницѣ. Къ его удивленію, та выслушала его очень сухо и даже какъ будто не совсѣмъ поняла, чего онъ хочетъ.

— Я вижу, — сказала она, — что вы придаете слишкомъ серьезное значеніе нашему маленькому флирту. Лучше разстанемся.

Онъ не огорчился, а только растерялся и пошелъ къ женѣ за дальнѣйшими указаніями.

Она и слушать его не стала.

— Я все знаю! Все! У васъ мало денегъ, и вы требуете, чтобы я обезпечила вашу новую семью!

Онъ такъ привыкъ слушаться ее въ своихъ лю-

бовныхъ дѣлишкахъ, что безсознательно повторилъ.

— Требую! требую!

Она заплакала.

— Теперь вы на меня кинетесь съ кулаками! . . . за то, что я . . . не захочу-у-у-у!

— Подлая! — заоралъ онъ вдругъ и, вскочивъ съ мѣста, сталъ изо всей силы трясти ее за плечи. — Подлая! Обезпечь насъ всѣхъ! Всѣхъ обезпечь сейчасъ же!

Подруга была очень удивлена, когда узнала, что неизвѣстное лицо положило въ банкъ деньги на ея имя.

У Марьи Ивановны она больше не бывала. Сама Марья Ивановна отъ доброй встряски точно изсякла и не могла больше обдумывать дѣлишки своего мужа.

Оба скоро успокоились и считали, что дешево отдѣлались отъ урагана страсти, чуть не разбившей ихъ семейную жизнь.

Ревность — штука лютая. Заставитъ ли она убить любимаго человѣка, или женить его на соперницѣ, — и то и другое хлопотно и непріятно.

И если у насъ построятъ лечебницу для ревнивыхъ, то я чистосердечно готова привѣтствовать благое начинаніе.

ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА.

Демоническая женщина отличается отъ женщины обыкновенной, прежде всего, манерой одѣваться. Она носитъ черный бархатный подрясникъ, цѣпочку на лбу, браслетъ на ногѣ, кольцо съ дыркой «для ціанистаго кали, который ей непремѣнно принесутъ въ слѣдующій вторникъ», стилетъ за воротникомъ, четки на локтѣ и портретъ Оскара Уайльда на лѣвой подвязкѣ.

Носитъ она также и обыкновенные предметы дамскаго туалета, только не на томъ мѣстѣ, гдѣ имъ быть полагается. Такъ, напримѣръ, поясъ демоническая женщина позволитъ себѣ надѣть только на голову, серьгу на лобъ или на шею, кольцо на большой палецъ, часы на ногу.

За столомъ демоническая женщина ничего не ѣстъ.

Она вообще никогда ничего не ѣстъ.

— Къ чему?

Общественное положеніе демоническая женщина можетъ занимать самое разнообразное, но большей частью она — актриса.

Иногда просто разведенная жена.

Но всегда у нея есть какая-то тайна, какой-то не то надрывъ, не то разрывъ, о которомъ нельзя го-

ворить, котораго никто не знаетъ и не долженъ знать.

— Къ чему?

У нея подняты брови трагическими запятыми, и полуопущены глаза.

Кавалеру, провожающему ее съ бала и ведущему томную бесѣду объ эстетической эротикѣ съ точки зрѣнія эротическаго эстета, она вдругъ говоритъ, вздрагивая всѣми перьями на шляпѣ:

— Ѣдемъ въ церковь, дорогой мой, ѣдемъ въ церковь, скорѣе, скорѣе. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.

Любезный кавалеръ предлагаетъ рыдать прямо на паперти, но «она» уже угасла. Она знаетъ, что она проклятая, что спасенья нѣтъ, и покорно склоняетъ голову, уткнувъ носъ въ мѣховой шарфъ.

— Къ чему?

Демоническая женщина всегда чувствуетъ стремленіе къ литературѣ.

И часто втайнѣ пишетъ новеллы и стихотворенія въ прозѣ.

Она никому не читаетъ ихъ.

— Къ чему?

Но вскользь говоритъ, что извѣстный критикъ Александръ Алексѣевичъ, овладѣвъ съ опасностью для жизни ея рукописью, прочелъ и потомъ рыдалъ всю ночь и даже, кажется, молился, — послѣднее, впрочемъ, не навѣрное. А два писателя пророчатъ ей огромную будущность, если она, нако-

нецъ, согласится опубликовать свои произведенія. Но, вѣдь, публика никогда не сможетъ понять ихъ, и она не покажетъ ихъ толпѣ.

— Къ чему?

А ночью, оставшись одна, она отпираетъ письменный столъ, достаетъ тщательно переписанные на машинкѣ листы и долго оттираетъ резинкой начертанныя слова: «Возвр.», «Къ возвр.».

— Я видѣлъ въ вашемъ окнѣ свѣтъ, часовъ въ пять утра.

— Да, я работала.

— Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для насъ.

— Къ чему?

За столомъ, уставленномъ вкусными штуками, она опускаетъ глаза, влекомые неодолимой силой къ заливному поросенку.

— Марья Николаевна, — говоритъ хозяйкѣ ея сосѣдка, простая, не демоническая женщина, съ серьгами въ ушахъ и браслетомъ на рукѣ, а не на какомъ-либо иномъ мѣстѣ. — Марья Николаевна, дайте мнѣ, пожалуйста, вина.

Демоническая женщина закроетъ глаза рукой и заговоритъ истерически:

— Вина! Вина! Дайте мнѣ вина, я хочу пить! Я буду пить . . . Я вчера пила, я третьяго дня пила и завтра . . . да, и завтра я буду пить. Я хочу, хочу вина.

Собственно говоря, чего тутъ трагическаго, что дама три дня подъ-рядъ понемножку выпиваетъ?

Но демоническая женщина сумѣетъ такъ поставить дѣло, что у всѣхъ волосы зашевелятся.

— Пьетъ.

— Какая загадочная!

— И завтра, говоритъ, пить будетъ.

Начнетъ закусывать простая женщина, скажетъ:

— Марья Николаевна, будьте добры, кусочекъ селедки. Люблю лукъ.

Демоническая широко раскроетъ глаза и, глядя въ пространство, завопитъ:

— Селедка? Да, да, дайте мнѣ селедки, я хочу ѣсть селедку, я хочу, я хочу. Это лукъ? Да, да, дайте мнѣ луку, дайте мнѣ много всего, всего, селедки, луку, я хочу ѣсть, я хочу пошлости, скорѣе . . . больше . . . больше, смотрите всѣ . . . я ѣмъ селедку! . .

Въ сущности, что случилось?

Просто разыгрался аппетитъ, и потянуло на соленькое. А какой эффектъ!

— Вы слышали? Вы слышали?

— Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.

— ?

— А то, что она, навѣрное, застрѣлится этимъ самымъ ціанистымъ кали, которое ей принесутъ во вторникъ.

Бываютъ непріятныя и некрасивыя минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперевъ глаза въ этажерку, мнетъ въ рукахъ носовой платокъ и говоритъ дрожащими губами:

— Мнѣ, собственно говоря, ненадолго . . . всего

только двадцать пять рублей. Я надѣюсь, что на будущей недѣлѣ или въ январѣ . . . я смогу.

Демоническая женщина ляжетъ грудью на столъ, подопретъ руками подбородокъ и посмотритъ вамъ прямо въ душу загадочными полураскрытыми глазами:

— Отчего я смотрю на васъ? Я вамъ скажу. Слушайте меня, смотрите на меня . . . Я хочу . . . — вы слышите, — я хочу, чтобы вы дали мнѣ сейчасъ же, — вы слышите, — сейчасъ же двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слышите, хочу! Чтобы именно вы, именно мнѣ, именно дали, именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я твварь! Теперь идите . . . идите . . . не оборачиваясь, уходите скорѣе, скорѣй! Ха-ха-ха . . .

Истерическій смѣхъ долженъ потрясти все ея существо, даже оба существа — ея и его.

— Скорѣй, скорѣй, не оборачиваясь . . . уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь. Ха-ха-ха . . .

И онъ «потрясется» своимъ существомъ и даже не сообразитъ, что она просто перехватила у него четвертной безъ отдачи.

— Вы знаете, она сегодня была такая странная . . . загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.

— Да, здѣсь чувствуется тайна.

— Можетъ быть . . . она полюбила меня . . .

— !

— Тайна.

ЧУЖАЯ БѢДА.

За завтракомъ у Милиныхъ толковали о скандалѣ съ докторомъ Гузикомъ. Оказалось, что онъ не только не платилъ долговъ, но и выкинулъ совсѣмъ уже безобразную штуку: взялъ у какой-то дамы, кажется у Заневичъ, «на фасонъ» портсигаръ ея мужа, да такъ и не вернулъ, не то заложилъ, не то просто продалъ.

Бѣдная Заневичъ. Ужасное положеніе. Хотя, конечно, сама виновата. Какъ можно позволять себѣ увлекаться подобнымъ типомъ!

Послѣ завтрака Вѣра Милина пошла къ Гариным. У Гариныхъ былъ журъ-фиксъ. На столѣ стояло печенье и варенье, а вокругъ стола оживленно гудѣли человѣкъ десять гостей.

На диванѣ, гдѣ мирно скрипѣли старыми корсетами двѣ толстыя старухи, сидѣла мадамъ Заневичъ и, томно щурясь, смотрѣла въ лорнетъ на собственную ногу.

Вѣра Милина сдѣлала оживленное лицо и стала прислушиваться къ общему разговору.

Говорили о какомъ-то интендантѣ, который послѣ смерти оказался честнѣйшимъ человѣкомъ и

всю жизнь не только не кралъ, но даже все время прикладывалъ свои деньги, какъ вдругъ красно-лысый полковникъ хлопнулъ себя по колѣну и закричалъ:

— А слышали, господа, новость? Вѣдь нашъ-то докторъ Гузикъ подъ судъ угодилъ!

Вѣра Милина замерла отъ ужаса: полковникъ, вѣрно, не знаетъ, что Заневичъ замѣшана въ эту исторію. Господи, до чего неловко. Господи, какъ ей сейчасъ должно быть стыдно!

Вѣра Милина сидѣла не шевелясь, боясь поднять глаза на Заневичъ, и чувствовала, какъ все ея лицо заливается пурпуровымъ румянцемъ.

— Да! Да! — радостно подхватилъ сидѣвшій рядомъ инженеръ. — Какія онъ тутъ дѣла обдѣлывалъ. Говорятъ, не побрезговалъ даже какимъ-то портсигаромъ.

Вновь прибывшій гость прервалъ разговоръ.

Вѣра Милина робко, исподлобья повела глазами на Заневичъ.

Та сидѣла, какъ ни въ чемъ не бывало, и съ аппетитомъ ѣла земляничный тортъ.

Новый гость завелъ новый разговоръ.

Потомъ поднялись уходить скрипѣвшія корсетами старухи, ушелъ полковникъ, ушла Заневичъ, пришли двѣ новыя дамы, и вдругъ разговоръ снова повернулъ на доктора Гузика.

— Да, да, — говорилъ кто-то. — Онъ, говорятъ, стащилъ у какой-то дамы портсигаръ ея мужа.

Вѣра Милина вспомнила о только что пережи-

томъ смущеніи, о стыдѣ за несчастную Заневичъ, и почувствовала, какъ при этомъ воспоминаніи румянецъ снова заливаетъ ея щеки.

— Господи, какъ ей должно быть неловко!

— Вы слышали эту исторію, Вѣра Николаевна? — обратились къ ней.

— Я? Я? Нѣтъ, нѣтъ, я ничего не знаю . . . Я все слышала, — залепетала Милина.

Всѣ какъ то растерянно переглянулись.

— Господи, какъ все это глупо! — мучилась Милина. — Ну, чего я право? И какое мнѣ до нея дѣло?

На другой день были именины самого Милина. Собрались гости и, конечно, заговорили о докторѣ Гузикѣ.

— Неужели я опять покраснѣю? — испугалась Вѣра Милина и тутъ же съ ужасомъ почувствовала, какъ горячая волна крови ударила ей въ лицо, даже въ ушахъ зазвенѣло.

— Ф-фу.

За обѣдомъ зашелъ разговоръ о медицинѣ.

— Господи, пронеси бѣду мимо! — испугалась Милина. — Сейчасъ они заговорятъ о докторахъ и свернутъ на своего Гузика, и я пропала!

На Гузика на этотъ разъ они, однако, не свернули и только молча удивлялись, чего хозяйка, красная и растерянная, такъ неискусно старается перемѣнить разговоръ, предлагая «скушать еще кусочекъ селедки», когда всѣ уже принялись за мороженое.

Два дня Вѣра Милина просидѣла дома, чтобы

дать время всѣмъ поуспокоиться, наговориться всласть о Гузикѣ и забыть о немъ.

Но и дома было нелегко.

Если случайно завернувшій гость почтительно освѣдомлялся о здоровьѣ, она думала:

— Начнетъ со здоровья, доѣдетъ до докторовъ и брякнетъ о Гузикѣ.

И, зардѣвшись, опускала глаза.

— Нѣтъ, я совсѣмъ идіотка, — возмущалась она. — Нужно взять себя въ руки. Ну, какое мнѣ до нихъ дѣло. Я-то за что мучаюсь?!

На третій день пошла на крестины и влѣзла прямо въ Гузика.

— Да, да, — кричала какая-то красная рожа. — Это фактъ. Выпросилъ у дамы своего сердца портсигаръ и преспокойно продалъ его.

Вѣра Милина встала, хотѣла уйти, снова сѣла, хотѣла что-то сказать.

Прямо противъ нея, на диванѣ, безпечно играя лорнетомъ, кокетничала съ поручикомъ Заневичъ и вдругъ навела лорнетъ на Милину и съ удивленіемъ уставилась.

Да и было чего.

Такого несчастнаго, краснаго, растеряннаго лица съ умоляющими, полными слезъ глазами нельзя было не отмѣтить удивленнымъ вниманіемъ.

Всѣ остановились, вдругъ, нелѣпо, съ разбѣга, какъ останавливается понесшая лошадь, напоровшаяся на заборъ оглоблей.

Хозяйка вскочила.

— Здѣсь ужасно душно, — сказала она, взявъ Милину подъ руку. — Пройдемъ ко мнѣ въ будуаръ.

Молчаніе и потупленные глаза проводили ихъ до дверей, и Милина не шла, а плелась за хозяйкой, какъ напроказившая собаченка, натыкаясь на всѣ стулья и на всѣ ноги, красная, несчастная, опозоренная.

— Выпейте воды, дружокъ. Хотите валерьянки? Да не волнуйтесь вы такъ, право никто ничего не замѣтилъ.

Вѣра Милина улыбнулась неловкой кривой улыбкой.

—Да вѣдь, это не я . . . не про меня . . . не я, — залепетала она такъ жалко и такъ неубѣдительно, что сама себѣ не повѣрила.

Она безнадежно махнула рукой и, отвернувшись, тихо заплакала.

О ДНЕВНИКАХЪ.

Мужчина ведетъ дневникъ всегда для потомства. — Вотъ, — думаетъ, — послѣ смерти найдутъ въ бумагахъ и оцѣнятъ.

Въ дневникѣ мужчина ни о какихъ фактахъ внѣшней жизни не говоритъ. Онъ только излагаетъ свои глубокіе философскіе взгляды на тотъ или иной вопросъ міровой важности.

«5-го января. Чѣмъ въ сущности человѣкъ отличается отъ животнаго? Развѣ только тѣмъ, что принужденъ ходить на службу, гдѣ ему приходится выносить столько непріятностей».

«10-го февраля. А наши взгляды на женщину. Мы ищемъ въ ней забавы и развлеченія и, найдя, уходимъ отъ нея. Не такъ ли смотритъ на женщину и бегемотъ».

«12-го марта. Что такое красота? Никто еще со сихъ поръ не задавался этимъ вопросомъ. А по-моему, красота есть не что иное, какъ извѣстное сочетаніе извѣстныхъ линій и извѣстныхъ красокъ.

А уродство есть не что иное, какъ извѣстное нарушеніе извѣстныхъ линій и извѣстныхъ красокъ.

Но почему же ради извѣстнаго сочетанія мы готовы на всякія безумства, а ради нарушенія палецъ о палецъ не ударимъ? Почему сочетаніе важнѣе нарушенія?

Объ этомъ слѣдуетъ долго и основательно подумать».

«5-го апрѣля. Что такое чувство долга? И это ли чувство овладѣваетъ человѣкомъ, когда онъ платитъ по векселю, или какое другое?

Можетъ быть, черезъ много тысячъ лѣтъ, когда эти строки попадутся на глаза какому-нибудь мыслителю, онъ прочтетъ ихъ и додумается, какъ я — его далекій предокъ».

«6-го апрѣля. Люди придумали аэропланъ. Къ чему? Развѣ это можетъ остановить хотя бы на одну сотую секунды вращеніе земли вокругъ солнца?»

Мужчина любитъ изрѣдка почитать кому-нибудь свой дневникъ. Только, конечно, не женѣ — жена все равно ничего не пойметъ. Онъ читаетъ свой дневникъ клубному пріятелю, господину, съ которымъ познакомился вчера на бѣгахъ, судебному приставу, пришедшему съ просьбой указать, «какія вещи принадлежатъ лично вамъ въ этомъ домѣ».

Но пишется дневникъ все-таки не для этихъ цѣнителей глубинъ человѣческаго духа, а для потомства и славы.

. . . . . .

Женщина пишетъ дневникъ всегда для Владими-

ра Петровича или Сергѣя Николаевича. Поэтому каждая непремѣнно пишетъ о своей наружности.

«5-го декабря. Сегодня я была особенно интересна. Даже на улицѣ всѣ вздрагивали и оборачивались на меня».

«5-го января. Почему они всѣ сходятъ съ ума изъ-за меня? Хотя я, дѣйствительно, очень красива. Въ особенности — глаза. Они, по опредѣленію Евгенія, голубые, какъ небо».

«5-го февраля. Сегодня вечеромъ я раздѣвалась передъ зеркаломъ. Мое золотистое тѣло было такъ прекрасно, что я не выдержала и, приблизившись къ зеркалу, благоговѣйно поцѣловала свое отраженіе прямо въ затылокъ, гдѣ такъ шаловливо вьются пушистые локоны».

«5-го марта. Я сама знаю, что я загадочная! Но что же мнѣ дѣлать, разъ я такая».

«5-го апрѣля. Александръ Андреичъ сказалъ, что я похожа на римскую гетеру, и что я съ наслажденіемъ посылала бы на гильотину древнихъ христіанъ и смотрѣла бы, какъ ихъ тамъ терзаютъ тигры.

Неужели я дѣйствительно такая?»

«5-го мая. Я бы хотѣла умереть совсѣмъ-совсѣмъ молоденькой, не старше сорока пяти лѣтъ.

Пусть скажутъ на моей могилѣ: «Она не долго жила. Не дольше соловьиной пѣсни!»

«5-го іюня. Снова пріѣзжалъ В. Онъ безумствуетъ, а я холодна, какъ мраморъ».

«6-го іюня. В. безумствуетъ. Онъ удивительно

красиво говоритъ. Онъ говоритъ: «Ваши глаза глубоки, какъ море».

Но даже красота этихъ словъ не волнуетъ меня. Нравится, но не волнуетъ».

«6-го іюля. Я оттолкнула его. Но я страдаю. Я стала блѣдна, какъ мраморъ, и широко раскрытые глаза мои тихо шепчутъ: «За что! За что!» Сергѣй Николаевичъ говоритъ, что глаза — это зеркало души. Онъ очень уменъ, и я боюсь его».

«6-го августа. Всѣ находятъ, что я стала еще красивѣе. Господи! Чѣмъ это кончится!»

Женщина никогда никому своего дневника не показываетъ. Она его прячетъ въ шкафъ, предварительно завернувъ въ старый капотъ. Но намекаетъ объ его существованіи, кому нужно. Потомъ даже покажетъ его, только, конечно, издали, кому нужно. Потомъ дастъ на минутку подержать, а потомъ ужъ, конечно, не отбирать же его силой.

И «кто нужно» прочтетъ и узнаетъ, какъ она была хороша 5-го апрѣля и что говорили объ ея красотѣ Сергѣй Николаевичъ и безумный В.

И если «кто нужно» самъ не замѣчалъ до сихъ поръ всего, что нужно, то, прочтя дневникъ, ужъ навѣрное обратитъ вниманіе на что нужно.

Женскіе дневники никогда не переходятъ къ потомству. Женщина сжигаетъ ихъ, какъ только они сослужили свою службу.

ТЕЛЕГРАММЫ.

Второй звонокъ.

Томный молодой человѣкъ, въ рыжемъ пальто, съ розой въ петличкѣ, наклоняется изъ окна и жметъ руку пріятелю.

— Ахъ, еще просьба, я забылъ послать Манѣ телеграмму. Телеграфируй ей отъ меня.

— Что же телеграфировать?

— Телеграфируй: «Люблю, тоскую, твой». Адресъ помнишь?

— Помню.

На площадку вагона впрыгиваетъ барышня въ синей вуали. Снизу офицеръ подаетъ ей букетъ.

— А Колѣ не забыли телеграфировать?

— Успѣла, успѣла, — отвѣчаетъ барышня. — Всего три слова: «Люблю, тоскую, пишу».

Третій звонокъ.

Замахали руки, платки, шляпы.

— Пишите, пишите! Кланяйся! Пиши!

— Гдѣ мое пальто? — надрывается чей-то голосъ.

— Носильщикъ! Носильщикъ!

Высокій толстый господинъ звонко чмокнулъ провожавшую его жену, вскочилъ на ходу и, скосивъ глаза на сосѣдку въ синей вуали, ожесточенно замахалъ шляпой.

Двѣ дамы у окна познакомились и угощаютъ другъ-друга конфектами.

Ихъ сблизило навѣки то, что обѣ знали въ молодости мадамъ Кузякину.

Теперь онѣ обсуждали сложный семейный вопросъ той дамы, которая постарше.

— И знаете, — разсказывала она, — это была такая нѣжность, такая преданность. «Я тебѣ, говоритъ, буду писать еже ... еже...» не помню, что. Но, во всякомъ случаѣ «еже» было сказано.

— Каково! Каково, — сочувствуетъ дама помоложе.

— Ну-съ, попрощались мы, разъѣхались. И можете себѣ представить, — ни одной строчки. Вотъ вамъ и «еже». Я съ ума схожу, телеграфирую каждый день: «Люблю, тоскую, пиши, отвѣчай». Ни слова.

Томный молодой человѣкъ въ рыжемъ пальто томно смотритъ на барышню въ синей вуали и пишетъ телеграмму за телеграммой. Онъ, вѣрно, очень дѣловой, у него даже бланки взяты съ собой.

Барышня украдкой подсматриваетъ, читаетъ.

«Кострома Любиной Люблю тоскую пиши Владиміръ».

«Москва Танчиной Люблю тоскую твой».

«Берлинъ Restante A. B. Jedu ljoubljou toskoujou»

Барышня вздыхаетъ, задумывается, вырываетъ два листка изъ записной книжки и царапаетъ на нихъ ломающимся карандашикомъ: «Люблю тоскую пиши пишу твоя».

Потомъ надписываетъ на каждомъ по различному адресу и проситъ кондуктора отправить депеши съ первой же станціи.

Въ Двинскѣ выскакиваетъ изъ вагона толстый господинъ, чмокнувшій свою жену, бѣжитъ на телеграфъ и нервно пишетъ двѣ телеграммы.

Одну въ Женеву:

«Jedu lublu toskuju twoj».

Другую въ Петербургъ, госпожѣ Муреръ:

«Люблю тоскую продай ліанозовскія Муреръ».

Ночью кондукторъ передаетъ барышнѣ въ синей вуали телеграмму, посланную на ея имя вслѣдъ поѣзду.

Барышня стоитъ на площадкѣ, рядомъ съ рыжимъ пальто. Пальто уже безъ розы. Роза у барышни за поясомъ.

— Опять отъ него! — говоритъ барышня, распечатывая телеграмму.

Оба читаютъ.

«Люблю тоскую пиши Николай».

Въ Вильнѣ барышня выходитъ. Рыжее пальто прощается съ ней томно, долго и многозначительно.

Толстый господинъ снова на телеграфѣ:

«Петербургъ. Госпожѣ Муреръ. Забылъ запе-

реть письменный столъ люблю тоскую держи рыбинскія Муреръ».

Черезъ два часа рыжее пальто отправляетъ телеграмму въ Вильну.

«Встрѣча неизгладима люблю тоскую вашъ».

Усталая телеграфистка узловой станціи терла одеколономъ запавшіе желтые виски и отстукивала на аппаратѣ:

«Нижній люблю тоскую вышлю».

«Москва люблю тоскую пиши скорѣе . . . Лял.».

«Ростовъ Донъ . . . Володя гдѣ ты люблю тоскую».

Она закрыла на минуту глаза, покачнулась, потерла виски и снова застучала аппаратомъ.

Голова кружилась. Чтобы не спутаться и не пропустить, она шептала:

«Люблю. Тоскую. Нѣжно. Люблю, тоскую».

Привычная рука отстукиваетъ машинально привычныя слова. Глаза слипались.

«Люблю тоскую хочу видѣть».

«Люблю тоскую транспортъ гусей задержанъ».

«Люблю тоскую рыба гніетъ».

«Люблю тоскую товарный № 17 сошелъ съ рельсовъ. Люблю тоскую машинистъ пьянъ . . . »

«Люблю тоскую кондуктора Коркина уволить немедленно . . . »

ПИСЬМА.

Я ужъ и не говорю о телеграфѣ и телефонѣ. Но почта, — самая обыкновенная почта, которую вынимаютъ изъ ящиковъ въ 8 ч. утра, 9 ч. 20 м., 10 ч. и т. д., — развѣ это не величайшее счастье для человѣчества?!

Беремъ кусочекъ души, кладемъ его въ конвертъ, лизнемъ, заклеимъ и бросимъ въ пространство. И будетъ онъ летѣть, — пока не упадетъ въ другую душу, — открытую, ждущую.

Развѣ это не счастье?

Сергѣй Ивановичъ Черниковъ только что отобѣдалъ.

Все лицо его выражаетъ одно впечатлѣніе, — впечатлѣніе, полученное отъ ботвиньи съ лососиной, — которое не могли изгладить ни послѣдующіе цыплята, ни земляничный пирогъ, словомъ, ничто.

Сергѣй Ивановичъ смотритъ на жену, сестру и дочку-семилѣточку и видитъ у всѣхъ то же выраженіе.

— А, дѣйствительно, она была хороша! — машинально говоритъ онъ.

Слово «хороша» напоминаетъ ему Вѣру Павловну.

— А не черкнуть ли ей пару словечекъ? А то осенью увидимся, — начнутся попреки . . .

Онъ всталъ и пошелъ въ свой кабинетъ.

— Не безпокойте меня до чаю! Мнѣ нужно позаняться немножко.

Выловилъ мухъ изъ чернильницы и сталъ писать:

«Тверская губ. усадьба Черниковка 5 іюля. Любимая! Гдѣ ты?»

—Гм! Я, положимъ, знаю, что она въ Павловскѣ на дачѣ, но, вѣдь, должна же она понять, что каждое письмо требуетъ стиля.

«Любимая! Гдѣ ты?

«Сейчасъ глухая ночь. Я одинъ сижу на скалѣ, слушаю глухой прибой волнъ . . . »

— Неудобно, что пишу-то изъ Тверской губерніи! Ну, да куда ни шло!

« . . . прибой волнъ и спрашиваю у моря: «Море, гдѣ моя милая? Но море молчитъ и глухо реветъ».

— И, дѣйствительно, не можетъ же море отвѣтить, что она, молъ, въ Павловскѣ, на дачѣ Чебурякина! Такъ что выходитъ вполнѣ естественно.

« . . . Если бы у меня, — увы! — были крылья, я полетѣлъ бы къ тебѣ, любимая!»

— Нѣтъ, это нехорошо! Это совсѣмъ неудачно!

Выходитъ, будто у меня нѣтъ денегъ на желѣзную дорогу.

Нѣтъ, такъ нельзя. Лучше такъ:

«Если бы у меня были крылья, я бы все время былъ съ тобой . . . »

— Еще глупѣе. Точно канарейка! Съ крыльями и постоянно тутъ же. Нѣтъ. Къ черту крылья совсѣмъ.

«Дорогая! Я такъ тоскую, что буквально ничего не могу ѣсть . . . »

— А ботвинья? — уколола вдругъ совѣсть.

Но стиль послѣ краткой борьбы побѣдилъ ботвинью.

« . . . а ночью, когда мгновенный сонъ смежитъ мои усталыя очи, я вижу только тебя, и громкія рыданья потрясаютъ мой организмъ».

— Ну, кажется, ладно. Какого ей еще рожна? Теперь можно и всхрапнуть до чаю.

Вѣра Павловна съ утра была не въ духѣ: тотъ самый лифъ, который еще въ прошлое воскресенье такъ хорошо сидѣлъ, сегодня ни за что не хотѣлъ застегнуться. Его крючки и петли, точно не желая имѣть другъ съ другомъ ничего общаго, никакъ не могли преодолѣть маленькаго пространства въ какіе-нибудь два сантиметра на спинѣ своей хозяйки.

— Вѣдь, не могла же я за одну недѣлю такъ растолстѣть! — дрожащими губами говорила Вѣра Павловна. — Недѣлю назадъ лифъ такъ хорошо сидѣлъ. Вѣрно, просто сѣлъ . . .

— Сидѣлъ, сидѣлъ, да и сѣлъ! — шутитъ веселый мужъ Вѣры Павловны. — Сидѣлъ, да и сѣлъ! Ха-ха-ха! Вотъ такъ чудеса съ твоими платьями.

— Это пошло съ вашей стороны. Самъ же виноватъ: сегодня подай ему пироги, завтра — пирожки, — ни одна фигура не выдержитъ.

— А ты не ѣшь; кто тебя заставляетъ? Сиди да смотри, какъ я ѣмъ. Другіе, можетъ быть, за такое зрѣлище большія деньги бы заплатили. Ха-ха-ха!

— Я не могу не ѣсть, когда всѣ кругомъ ѣдятъ! У меня душа чуткая!

Она ушла надутая и злая къ себѣ въ комнату, заперлась, вытащила изъ-подъ подушки письмо Черникова и нѣсколько разъ перечитала его.

— Н-да! Это — дѣйствительно любовь. Какого числа? Двадцать восьмого. А сегодня первое. Какое счастье, что существуетъ почта, а то онъ тамъ мучится, а я бы и не знала ничего. И за что онъ меня такъ любитъ?! . . .

Она достала бумагу, попрыскала ее бѣлымъ ирисомъ и стала писать:

«Твое письмо возродило меня къ новой жизни, Сергѣй!

Я такъ измучилась! Знаешь, какъ странно, — вѣдь я тоже ничего не ѣмъ. Я такъ исхудала, что стала совсѣмъ прозрачная, и платье, скользнувъ, падаетъ къ моимъ ногамъ.

Вся жизнь моя сосредоточена теперь на одномъ

только словѣ, и это слово — «Сергѣй Ивановичъ Черниковъ».

Пусть лицемѣры забросаютъ меня каменьями, но это такъ.

Милый! Любимый! Единственный! Не презирай меня! Я вся — одинъ порывъ къ блаженству съ тобой!

Твоя Птичка».

Вѣра Павловна вздохнула.

— Нѣтъ, дѣйствительно, я растолстѣла! Это прямо отчаяніе! Я покончу съ собой!

Потомъ перечитала письмо. Оно ей очень понравилось, особенно нѣкоторыя фразы, и, какъ хорошая хозяйка, она рѣшила немедленно сервировать ихъ еще разъ.

— Напишу сейчасъ же Аркадію. Тѣмъ болѣе, что они съ Черниковымъ даже и не знакомы, да и порядочные мужчины никогда не показываютъ другъ другу письма любимой женщины.

«Аркадій! Любимый мой! Единственный! Твое письмо возродило меня къ новой жизни.

Вся жизнь моя сосредоточена теперь на одномъ только словѣ, и это слово — «Аркадій Петровичъ Поповъ».

Пусть лицемѣры забросаютъ меня каменьями, но я вся — одинъ порывъ къ блаженству съ тобой!

Твоя Мышка».

— Это еще лучше вышло. Короче и сильнѣе!

Она торопливо лизнула оба конверта, запечатала и бросила въ пространство кусочекъ своей ду-

ши, и онъ полетѣлъ, пока не упалъ въ другую душу, открытую, ждущую.

Загудѣли поѣзда, заработали усталые, закоптѣлые машинисты, выбѣжали съ фонарями въ рукахъ невыспавшіеся стрѣлочники, захлопотали начальники станцій, защелкалъ аппаратомъ изможденный телеграфистъ, побѣжали, спотыкаясь, замученные почтальоны, подхлестнули лошадей сонные ямщики.

— Почту веземъ! Гей! Дѣло срочное, не опоздать бы.

Гулъ, шумъ, трескъ, стоны, стоны, стоны . . .

Это летитъ душа Вѣры Павловны, которая «вся — порывъ къ блаженству» съ Сергѣемъ Ивановичемъ и отчасти съ Аркадіемъ Петровичемъ.

И развѣ можно сказать, что всѣхъ этихъ хлопотъ слишкомъ много, чтобы обслуживать великую и могучую человѣческую душу?

Какое счастье для всѣхъ насъ, бѣдныхъ, разлученныхъ, что существуетъ почта!

СОДЕРЖАНІЕ.

	стр.
Черный Ирисъ	5
Тоска по родинѣ	11
Острая болѣзнь	19
Продавщица	30
Веселая вечеринка	36
Пуговица	49
Мамка	59
Ревность	64
Демоническая женщина	71
Чужая бѣда	76
О дневникахъ	81
Телеграммы	85
Письма	89

Do not copy

Do not copy

Do not copy

Do not copy

Do not copy

БРК 8